БИБЛИОТЕКА МЕМУАРОВ

Т. БЕТМАН-ГОЛЬВЕГ

BE105
Б524

МЫСЛИ О ВОЙНЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

БИБЛИОТЕКА МЕМУАРОВ

MCMXXV

Т. БЕТМАН-ГОЛЬВЕГ

МЫСЛИ О ВОЙНЕ

Перевод с немецкого
В. Н. ДЬЯКОВА

С предисловием
В. ГУРКО-КРЯЖИНА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
Москва ★ 1925 ★ Ленинград

С.С.С.Р. ИНСТИТУТ К. Маркса и Ф. Энгельса Ц. И. К.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
2009

К
1987

ВЕ105
Б524 Р

Напечатано в 1-й Образцовой
типографии Госиздата
Москва, Пятницкая, 71
в количестве 5.000
экземпляров
Гиз 9159
Главлит
34893

★

№ 372983

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	Стр.
Предисловие В. Гурко-Кряжина	VII
Глава первая. Прелюдии	1
» *вторая.* Затруднения с Францией	17
» *третья.* Попытки соглашения с Англией	27
» *четвертая.* Триполи.—Балканские войны.—Россия	42
» *пятая.* Начало войны	61
Заключение	112

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Воспоминания Бетмана-Гольвега [1]) несомненно производят трагическое впечатление. Годы его канцлерства (1909 — 1917) падают на самую тревожную для Германии эпоху, непосредственно предшествовавшую мировой войне, и на бо́льшую часть последней. В эти полные драматизма годы происходит кристаллизация Антанты, разражается первый балканский кризис 1908—1909 г.г., вызванный австрийской аннексией Боснии и Герцеговины, через три года вспыхивает опаснейший конфликт в Марокко, вызванный так называемым «агадирским ударом» Германии, происходят бесконечные трения на Ближнем Востоке вокруг Багдадской железной дороги, наконец, возникают балканские войны, являющиеся уже несомненной прелюдией к мировой войне.

И вот в этот ответственный период истории Германии во главе ее оказываются совершенно неспособные, растерявшиеся политики, напоминающие героя сказки, который испугался им же самим вызванных духов. Руководитель внешней политики Германии — Бетман-Гольвег дрожащими руками строит и поддерживает, по его собственному выражению, «карточные домики» европейского равновесия; однако мощное дыхание империализма беспощадно валит эти хрупкие постройки. Медлительный, склонный, по словам Вильгельма II, к «проповедническим нравоучениям», канцлер пытается проводить систему компромиссов, названную им

---

[1]) Th. von Bethmann Hollweg. Betrachtungen zum Weltkriege, I—II.

политикой «диагонали». Однако во внешней политике эта «диагональ» ломается, упершись в «окружение» (Einkreisung), созданное державами Антанты. Не как трезвый политик, а как романтик он мечтает прорвать это стальное окружение, войдя в дружественное соглашение с Англией. Однако эта политическая линия разлетается вдребезги, сталкиваясь с программой Тирпица, провозглашающей, что «будущее Германии на морях», и стремящейся к сокрушению главного врага последней — Великобритании, путем колоссальных подводных и надводных вооружений.

Десятки красноречивых страниц посвящены Бетман-Гольвегом миролюбию германской политики, при чем даже Вильгельма он ухитряется изобразить в виде какого-то ангела мира. Однако в свете послевоенных разоблачений этот пацифизм приобретает довольно подозрительную физиономию. Как известно, уже в эпоху первого балканского кризиса (1908—1909) Германия открыто грозила России выступить в «блистающих доспехах» на защиту своей союзницы—Австро-Венгрии. Спустя три года, Германия устраивает демонстрацию в Марокко, послав туда военное судно «Пантеру». Опять спустя три года, в тревожный период балканских войн Вильгельм II уже любезно предлагает России устроить «пробу сил» (Kraftprobe), т.-е. фактически начать войну.

Как же примирить все эти дипломатические «удары», помахиванье бронированным кулаком и т. п. с «миролюбием» германской политики? Бетман пытается выйти из этого затруднения, указывая, что все эти вызывающие действия были обусловлены исключительно необходимостью «сохранения престижа» Германии, а также оказания защиты ее союзнице—Дунайской монархии. Но при этой аргументации экс-канцлера остается совершенно непонятным, чем же собственно отличается миролюбивая политика «сохранения престижа» от самого беспардонного зарвавшегося милитаризма, стремящегося спровоцировать войну? Затем совершенно не-

лепо и исторически неправильно живописать Австро-Венгрию в виде какой-то приживалки, мирно прозябающей под защитой Германии. Разоблачения, появившиеся в последние годы в Австрии, рисуют яркую картину венского милитаризма, ничуть не уступающего по своей интенсивности берлинскому, парижскому или петербургскому. Лидер австрийских империалистов, начальник штаба Конрад фон-Гецендорф, в своих записках («Aus meiner Dienstzeit») совершенно откровенно признается, что он в течение восьми лет осаждал Франца Иосифа и австрийское министерство иностранных дел требованиями ринуться в бой против Сербии, стоящей за ее спиной России и даже против коварной союзницы—Италии. Когда начался кризис 1914 г., вызванный сараевским убийством, то, как известно, в Вене не ожидали и не хотели, чтобы сербы приняли австрийский ультиматум, хотя для всех совершенно было ясно, что война с Сербией неизбежно приведет к мировому пожару.

Как мы видим, если Германии и приходилось защищать Дунайскую монархию, то это вызывалось не беспомощностью последней, а наоборот — ее чрезвычайной агрессивностью. Германия, начиная с 1908 г., плыла в фарватере австрийской политики и часто принуждена была ввязываться в те конфликты, которые создавались последней.

Мирные тенденции, наличность которых нельзя отрицать в германской политике (конечно, на-ряду с более ярко выраженными агрессивными), находят себе совершенно иное об'яснение, нежели то, которое дает в своей апологии Бетман-Гольвег. Это не была продуманная и решительная мирная программа, стремящаяся ликвидировать возникающие конфликты. Скорее это была трусливая политика выгадывания времени, быстро переходящая от угроз к половинчатым компромиссам, преследующая единственную цель отогнать хотя бы на короткое время тот призрак войны, тень от которого уже покрывала всю Европу.

Огромная машина милитаризма, пущенная в ход уже десятилетия назад, неудержимо увлекала все европейские державы к кровавой бойне. А Бетман-Гольвег продолжал думать, что во всех осложнениях повинна лишь русская экспансия да сербские интриги; досадно, что они находят поддержку со стороны Франции и Англии, а то карточный домик европейского равновесия можно было бы еще в течение долгого времени предохранять от падения.

Когда разразился австро-сербский конфликт 1914 г., то для всех осведомленных политиков, одинаково в странах Тройственного Согласия и в странах Антанты, было ясно, что он примет мировые размеры. Проницательный же канцлер и возглавляемая им партия мира думали, или вернее хотели думать, что австро-сербский конфликт может быть локализован испытанными, но, увы, уже окончательно выдохшимися средствами тайной и явной дипломатии. Пацифистски настроенный канцлер и его единомышленники в эти трагические годы и месяцы, предшествовавшие мировой войне, напоминали растерявшихся людей, которые, боясь наступления неизбежного рокового часа, пытаются обмануть себя тем, что они безостановочно переводят назад стрелку на своих карманных часах.

Мировая война открывает новый том «Размышлений» Бетман-Гольвега и вместе с тем знаменует новый этап в его политической деятельности.

Когда разразился мировой катаклизм, то вся юнкерская и милитаристическая Германия начала требовать создания «твердой власти», которая бы целиком ликвидировала парламентаризм, задушила прессу и рабочее движение и явилась бы орудием для их аннексионистской, пангерманской программы. Трудно представить себе менее подходящего человека для выполнения этих задач, нежели Бетман-Гольвега. Основным дефектом его было то, что у него не было, в противоположность милитаристической клике, никакой

определенной программы. Он по-прежнему пытался проводить политику «диагонали», думая таким путем стать «над партиями». Жестким требованиям пангерманцев он противопоставил дряблую тактику компромиссов и уступок. Пытаясь завязать мирные переговоры, он не решался потребовать от милитаристов категорического отказа от Бельгии, без чего вся его мирная дипломатия теряла всякую базу. Восставая против беспощадной подводной войны, он соглашался на куцую, ограниченную войну: заигрывая со всеми партиями рейхстага и одновременно учитывая требования военщины и реакционных кругов, он плелся в хвосте событий, не руководя политической жизнью, а одновременно ориентируясь на придворную клику, ставку и парламентское большинство.

Немудрено, что с самого начала мировой войны у канцлера возникли трения с военными кругами, дошедшие до необычайной остроты после водворения в верховной ставке ген. Людендорфа. Бетман-Гольвег жалуется на вмешательство военных в политику, на стремление Людендорфа к военной диктатуре, помимо неограниченной свободы военных действий; он отмечает, что до войны его главным противником был адмирал Тирпиц, теперь же стал Людендорф и т. п.

Последний, как это выясняется из его «Воспоминаний о войне 1914—1918 г.г.», действительно считал канцлера неспособным сохранить единство «тыла», обвинял его в сознательном уничтожении боеспособности народа, в подрывании «упования на собственную мощь» и т. п. Как и Тирпиц, он указывал, что в противоположность державам Антанты, вручившим правительственную власть энергичным диктаторам типа Клемансо или Ллойд-Джорджа, Германия передала власть слабовольным политикам, неспособным поддерживать «священный огонь».

Вполне понятно, что, не поладив с канцлером, Людендорф начал концентрировать в ставке все нити как военной, так

и внутренней и международной жизни страны. «Государственные люди с трудом могли понять,—пишет он в своих «Воспоминаниях», — что с начала войны высшее военное командование образовало новый центр, который не только разделил ответственность с государственным канцлером, но и выносил на себе невероятные трудности».

В неравной борьбе нерешительного, склонного «к проповедническим нравоучениям» канцлера с немецким «железным человеком» — Людендорфом победа, разумеется, должна была остаться на стороне последнего. Вырванное у канцлера согласие на беспощадную подводную войну лишь отсрочило его падение. Когда же в середине 1917 г. в парламенте образовалось большинство, стоящее за «мир на основах соглашения», судьба канцлера была предрешена. Последняя глава его «размышлений» производит трагическое впечатление. Решительно все партии и политические группы требуют его отставки. Людендорф заявляет, что война будет проиграна, если Бетман-Гольвег останется у власти. Одновременно парламентские фракции утверждают, что он является препятствием для заключения мира. Чтобы свалить ненавистного канцлера, военное командование прибегает к любопытному способу: Гинденбург и Людендорф пред'являют ультиматум кайзеру об удалении Бетмана, угрожая в противном случае своей отставкой.

Карьера половинчатого политика, столь характерного для довоенной Германии, сделавшего своим политическим credo тактику безграничных компромиссов, бесповоротно рушится. Свои размышления он заканчивает указанием, что хотя после его ухода и наступила внешняя парламентаризация, но на самом деле решающая санкция по всем вопросам после этого перешла к верховному командованию. Необходимо внести, однако, маленькую поправку в размышления неудачливого канцлера; как указывают интереснейшие мемуары Эрцбергера, да и «Воспоминания» самого Людендорфа, власть

перешла в руки военщины не после его ухода, а фактически она была захвачена Людендорфом и примыкающими к нему милитаристическими кругами уже за год до этого.

Недаром осенью 1917 г. Людендорф, по его собственному признанию, предполагал даже оформить это положение вещей путем устройства государственного переворота и создания военной диктатуры.

Фигура Бетман-Гольвега с его политикой «диагонали» необычайно типична не только для довоенной, но и для современной Германии. Элементы «бетманщины» присущи в той или иной степени всем германским оппортунистическим партиям, начиная от социал-демократов и кончая народной, католической и т. п. срединными партиями. Недаром после войны их постигла та же самая судьба, как и «надпартийного» канцлера: после семи лет беспомощного топтания они были оттеснены в сторону реакционными, милитаристическими партиями, выбравшими в качестве своего символического представителя старшего товарища Людендорфа — фельдмаршала Гинденбурга.

В. ГУРКО-КРЯЖИН.

МЫСЛИ О ВОЙНЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

ПРЕЛЮДИИ.

Когда князь Бюлов при выходе своем в отставку в июле 1909 г. передавал мне дела рейхсканцлера, он набросал в обстоятельных беседах со мной картину отношений Германии к соседним государствам. В основном его мнение сводилось к тому, что наши отношения с Россией и Францией удовлетворительны, но что поведение Англии представляет предмет серьезных опасений. Однако он надеялся, что путем особо предупредительного обращения с ней удастся и здесь установить лучшие взаимоотношения.

По моим личным впечатлениям, недоброжелательство к нам не состоящих в союзе с нами европейских великих держав, взращенное королем Эдуардом с его политикой изоляции Германии, неизменно продолжалось. Руководитель внешней политики России г. Извольский склонен был выражать в очень несдержанной форме свою непримиримую ненависть к графу Эренталю и к направляемой им австро-венгерской политике. Та настойчивость, с которой русский посол граф Остен-Сакен — тип настоящего дипломата старой школы — содействовал поддержанию традиционной дружбы с Германией, не могла рассеять убеждения, что более влиятельные силы в Петербурге переносили враждебные тенденции против Дунайской монархии и на союзную с ней Германию. Наше поведение в боснийском кризисе 1908/1909 г., имевшее в виду

предоставить русскому кабинету выход из того тупика, в который он попал, и действительно ему таковой и предоставившее, подействовало как вызов, брошенный чувству собственного достоинства России, и постепенно она сжилась с мыслью, что Германия представляет главное препятствие к осуществлению вновь возникших у нее после японской войны претензий на исключительное влияние в политических делах на Балканах и в Константинополе.

Отношения с Францией были в то время ровные. Заключенный в феврале 1909 г. договор относительно экономических интересов в Марокко при точном его соблюдении мог, казалось, предупредить дальнейшие трения; тогдашнее же французское правительство старалось не допускать чересчур громких проявлений мечты о реванше. Г. Жюль Камбон, французский посол в Берлине, неоднократно подчеркивал необходимость более дружеских отношений между обоими правительствами, живо вспоминая серьезное беспокойство, которое он пережил в 1905 г. Характер своих соотечественников он знал слишком хорошо, чтобы не понимать, что вынужденная в свое время отставка Делькассэ причинила галльскому самолюбию мучительную рану, которая, несмотря на удовлетворительный для Франции исход Алжезирасской конференции, еще не зарубцевалась. Он честно учитывал, что воспоминание о 1870 г. и Эльзас-Лотарингии, стремление к реваншу за понесенное тогда поражение, помимо всех событий дня, оставалось во французской политике фактором, который, не взирая на общее упрочение положения, мог повлечь за собой самые серьезные последствия.

В Англии король Эдуард находился на вершине своего могущества. Английские политики часто его восхваляли, как великого peacemaker'a (миротворца), и с особой настойчивостью протестовали против мнения, будто то направление, которое приняла политика Англии по отношению к Франции и России, имело целью изоляцию Германии или даже воору-

женное на нее нападение. Подобные мнения лорд Хольден в своей речи 5 июля 1915 г. признал решительно ложными и неосновательными. Он одновременно прав и неправ. Нахожу необходимым с самого начала оговориться, что я считаю неверным, будто король Эдуард или официальная английская политика после него проектировали вооруженное нападение на нас. Но было бы пустым спором о словах опровергать, что король Эдуард проводил план нашей изоляции и добился ее. Факт тот, что отношения обоих кабинетов, в сущности, ограничивались лишь соблюдением формальностей, сопряженных с взаимоотношениями двух ненаходящихся в состоянии войны государств. Во всех вопросах международной политики, по которым мнения расходились, Германия была поставлена перед лицом тесного союза Англии, России и Франции, который не только нагромождал всяческие препятствия на пути ее начинаний, но систематически и с успехом старался отвлечь Италию от тройственного союза в свой лагерь. Можно это называть как угодно: изоляцией, политикой balance of power (равновесия сил) или как-нибудь иначе. Целью являлось — и намеченная цель была достигнута — образование такой группировки государств, которая, путем об'единения сил, превышающих силы противника, препятствовала бы — по крайней мере, дипломатическими средствами — свободному развитию возрастающих сил Германии. Так понимали эту политику не только шовинистические, но и строго миролюбивые круги Англии и Германии, а также и нейтральные наблюдатели. Антанта, в течение войны так заботливо обращавшаяся с своим протеже — Бельгией и с таким энтузиазмом восхвалявшая ее, как союзницу в борьбе за право и справедливость, не могла обойти молчанием единодушного мнения бельгийских дипломатов. Их сообщения, освещающие буквально подавляющим материалом разные стадии развития политики изоляции, имеют, пожалуй, больше веса, нежели многочисленные английские голоса, которые тоже не упускали ни одного случая

радостно приветствовать entente cordiale (сердечное согласие) и его недружелюбные — чтобы не сказать враждебные — тенденции против Германии.

Характерно то значение, которое наиболее видные английские дипломаты без различия партий с самого начала придавали позиции Англии в группировке держав. Сэр Эдуард Грей уже в 1905 г., когда намечался переход власти к либеральной партии, об'явил, что либеральный кабинет оставит в силе программу старого правительства. Он говорил, что надеется на улучшение отношений с Россией, и что с его точки зрения не следует противиться установлению более удовлетворительных отношений с Германией при условии, что они не пойдут в ущерб англо-французской дружбе. Соглашение с Германией — лишь постольку, поскольку его допускает дружба с Францией, а впоследствии еще и с Россией, — вот лейтмотив английской политики по завершении splendid isolation (блестящей изоляции) и до самой войны. Лейтмотив этот был для Германии далеко не безобидным. Англия знала, как неотступно направлен взор Франции на Эльзас-Лотарингию; она слышала голоса реванша, которые раздавались на всех празднествах братания России и Франции; она знала условия, которые Франция ставила почти при каждом займе союзной России в смысле улучшения военных ее сооружений и развития стратегической железнодорожной сети против Германии; одним словом, Англия, по меньшей мере, так же хорошо, как мы, угадывала боевые тенденции франко-русского союза, на заднем фоне которого уже несколько раз показывался грозный призрак войны. Не приходится поэтому удивляться тому опасению, с которым в Германии следили за таким направлением английской политики. Ведь и сам инициатор ее — король Эдуард неоднократно публично намекал, как именно надо было понимать дело его рук. Исключительное внимание, оказанное им ярому представителю политики реванша—министру Делькассэ в Париже вскоре после его паде-

ния — летом 1906 г., рассеяло всякое сомнение относительно характера дружбы, об'единяющей Англию с Францией.

Сэр Эдуард Грей воздерживался от проявления явно недружелюбного отношения к Германии. Может оставаться под сомнением, давал ли он себе отчет во всей остроте агрессивных тенденций франко-русской политики; вероятно, он считал возможным регулировать эти тенденции, сообразуясь с потребностями английской политики. Кое-что говорит даже за то, что он не исключал из сферы своих комбинаций возможности некоторого сближения с Германией, считая его вполне соединимым с сохранением близких отношений с Францией и Россией. Его позиция была не так проста, как французских и русских дипломатов, в его сложном мозгу умещались разные политические соображения, быть может, не всегда совпадавшие с целями Антанты.

Здесь не место обсуждать, могла ли бы Германия придать этим мировым отношениям другое направление, если бы она реагировала на попытки сближения со стороны Англии и, в случае достижения соглашения, соответственно изменила бы свою морскую политику. В 1909 г. взаимоотношения, которые мы пытаемся в общих чертах обрисовать здесь, сводились к тому, что Англия — в полном соответствии с своей традиционной враждой к могущественнейшей тогда континентальной державе — заняла определенную позицию на стороне Франции и России, в то время как Германия выработала программу постройки флота, дала определенное направление своей восточной политике и вынуждена была считаться с враждебным настроением Франции, нисколько не ослабленным политикой последних лет. Если, с одной стороны, Германия в дружбе с двойственным союзом должна была усматривать угрожающее усиление агрессивных тенденций франко-русской политики, то, с другой стороны, Англия должна была видеть в усилении германского флота угрозу себе, а в нашей политике на Востоке—вторжение в сферу ее исконных прав.

Резкие выпады сделаны были с обеих сторон. Холодом и недоверием повеяло в воздухе.

Положение Германии при таком состоянии вещей казалось тем более не надежным, что тройственный союз, внешне неизменившийся, внутренне потерял свою прочность. Это не относится, однако, к Австро-Венгрии: с ней царило полное согласие, хотя в Алжезирасе мы видели те пределы, за которые не выходила дипломатическая помощь Австро-Венгрии. Но Италия, через Висконти-Виноста вошедшая в соглашение с западными державами относительно Марокко и Триполи, явно склонялась к Франции, в то время как ее притязания на Балканах, даже помимо движений ирредепты, никогда не позволяли установиться настоящей искренности в ее отношениях с союзной Дунайской монархией. Такого министра иностранных дел, как Принетти, едва ли можно назвать лойяльным представителем старой политики тройственного союза. Интересы Италии в Средиземном море заставляли ее обратить свои взоры к Англии, не говоря уже о тех перспективах, которые открылись бы перед ней, почти совершенно беззащитной против английского флота при ее островном положении, в случае вражды со стороны Англии. Поведение Италии на Алжезирасской конференции и во время боснийского кризиса было очень показательным для действительного положения вещей. Эти заигрывания привели в конце концов к весьма подозрительной интимности.

Если подвести итог и рассмотреть его об'ективно, то придется характеризовать внешнее положение, которое я застал в 1909 г. следующим образом: Англия, Франция и Россия были об'единены в твердую коалицию; Япония была связана с ними, благодаря ее союзу с Англией. Резкие англо-французские и англо-русские разногласия прежних времен были устранены договорами, относительно выгодными для всех сторон; Италия хотя и сталкивалась с западными державами из-за своих интересов в Средиземном море, в то же время находилась от

них в некоторой зависимости, все более сближаясь с ними. Связующим цементом в здании коалиции были созданные английской политикой do ut des (услугу за услугу) общность интересов коалиционных держав между собой и антагонизм каждой из них в отдельности против Германии. Принципиальная враждебность к нам франко-русского союза усилилась: со стороны Франции после первого марокканского кризиса и со стороны России—после боснийского кризиса; Россия отплатила нам черной неблагодарностью за наше отношение к ней во время ее войны с Японией. Япония, с своей стороны, не могла простить нам нашего поведения в Шимоносеки. Противоположность экономических интересов Англии и ее германских соперников обратилась, благодаря нашей морской политике, в остро политическую. При таком положении вещей Германия, по моему убеждению, должна была попытаться ослабить главную опасность франко-русского союза, который мы были бессильны разрушить, хотя бы путем сокращения кредитов, отпускаемых Англией двойственному союзу на его анти-германскую политику. Это означало для нас — попытку войти с Англией в соглашение.

Император не только соглашался с такой политикой, но называл ее, в наших неоднократных с ним беседах, единственно возможной политикой, к которой он лично всеми мерами стремится. Враждебное окружение, в котором мы находились, производило на императора чрезвычайно тяжелое впечатление. Если он от времени до времени в своих полных темперамента речах подчеркивал прочность международного положения Германии, то его при этом воодушевляло только желание побудить нацию, процветание которой, превзошедшее всякие ожидания, наполняло его вполне сознательной гордостью, к дальнейшему напряжению сил: он хотел заразить ее своим энтузиазмом. Сильным и могущественным хотел он видеть свой народ, но миссия Германии, в которую он глубоко верил, должна была быть миссией труда и мира. И его

неустанной заботой было, чтобы этот труд и этот мир не были нарушены подстерегающими нас со всех сторон опасностями. Неоднократно рассказывал он мне, как он предпринял свою поездку в Танжер в 1905 г. против своей воли, только по настоянию своих политических советчиков, хорошо зная, что эта поездка вовлечет нас в опасные осложнения. Его личное влияние, однако, сыграло большую роль в мирном исходе марокканского кризиса в 1905 г. Таким же стремлением к миру было проникнуто все его поведение как во время бурской, так и во время русско-японской войны, между тем как для воинственно настроенного властителя не было недостатка в поводах для вооруженного вмешательства в мировую политику.

Германская критика уже тогда неоднократно указывала, что это слишком частое подчеркивание нашего миролюбия не столько способствует поддержанию мира, сколько укрепляет Антанту в ее стремлении к изменению status quo. В период империализма, основывающегося на материальной силе и лишь попутно преследующего задачи сохранения мира (именно под этим знаменем протекли последние десятилетия перед войной), такие соображения, несомненно, имеют большое значение, и, быть может, ими об'ясняются некоторые заявления императора, подчеркивающие германскую военную мощь. Конечно, такие заявления не могли ослабить общей нервозности, наполнявшей международную атмосферу, но настоящую пищу всемирное беспокойство находило себе в политике balance of power (равновесия сил), стремившейся разбить Европу на два враждебных, не доверяющих друг другу, вооруженных лагеря. Да и послы великих держав, лично знавшие достаточно близко императора, прекрасно понимали, что его намерения, несмотря на все, были самыми миролюбивыми. Каррикатурный образ тирана, полного ненависти и жаждущего всемирного владычества, представляет собой преднамеренную ложь, которую можно об'яснить только психозом

войны. Быть может, величайшая трагедия, постигшая императора, заключается в этом неслыханном искажении его воли, глубоко преисполненной идеалами мира. И кому, как мне, выпало на долю после долголетнего, полного доверия, общения и обмена мыслями, переживать вместе с ним ту страстность, с какой эта воля искала летом злополучного 1914 г. мирного исхода, тот может понять, в какой степени должна была возрасти огромная боль, причиненная ему развалом Германии, от этого осквернения его сокровеннейших убеждений, вытекавших из его христианского мировоззрения

Внутреннее положение Германии при моем вступлении в должность канцлера было достаточно запутано. Политика блока князя Бюлова означала несомненный успех постольку, поскольку она, хотя бы временно, вырвала развившийся немецкий либерализм из бесплодного состояния оппозиционной партии и таким образом поставила правительственную политику на более широкий базис. Но консерваторы с самого начала, по деловым и личным соображениям, не симпатизировали сотрудничеству с прогрессивной партией. В особенности же центр, связанный многочисленными нитями с правыми, отнесся с вполне понятным неудовольствием к тому, что он в результате блокированных выборов попал в оппозицию бок-о-бок с социал-демократией. Быть может, результаты были бы более благоприятные, если бы правительство трактовало свою позицию против центра, как временную. С распадом блока разлад между партиями стал еще больше, чем был до его возникновения. Правая, довольная, что она отделалась от сотрудничества с прогрессивной партией, была склонна подчеркивать решительнее, чем раньше, свои крайне консервативные взгляды, в особенности в прусском ландтаге. Буржуазная левая чувствовала себя горько разочарованной разрушением своих надежд приобрести более длительное влияние на политику и опять вернулась в фарватер оппозиции. Социал-демократия, сильно ослабленная блокированными вы-

борами, еще глубже затаила свою непримиримость. Только центр в конце концов выиграл. Благодаря умелому руководству, сумевшему крепко спаять об'единенные в нем консервативные и демократические элементы, и благодаря осторожной тактике, избегающей всяких преждевременных обещаний, ему удалось опять завоевать то положение, которое наиболее соответствовало политике диагонали, обусловленной общим взаимоотношением сил.

Взаимное озлобление партий нашло себе обильную пищу в настроении народных масс вне парламента. Теперь кажется просто непонятным, как могла вокруг такого вопроса, как налог на наследство, с его небольшими, вполне приемлемыми ставками, разгореться такая ожесточенная борьба, в которой были пущены в ход даже принципы германской семейной этики. Сопротивление, в особенности консерваторов, было здесь, как и в других вопросах, бесконечно близоруко и нанесло длительный вред репутации партии, поскольку она опиралась на определенные круги, в особенности на союз сельских хозяев. Упрек, что враждебность консерваторов к указанному закону сводилась лишь к заботам о собственном кармане, напрашивался сам собой и с жадностью был использован в целях агитации в широких слоях населения. Если центр меньше упрекали за отклонение закона о налоге на наследства, то об'ясняется это более уступчивым его отношением в вопросе о реформе прусского избирательного права. Упорство консерваторов в отстаивании классовой системы избирательного права, явно благоприятствовавшей им в течение всей эпохи нашего развития, вместе с отклонением налога на наследства, который, несомненно, ложился более чувствительно на поземельную собственность, чем на движимый капитал, — придавали их политике сугубый характер корыстного преследования своих классовых интересов.

Партийная печать делала с своей стороны все возможное для усиления создавшихся разногласий, вместо того,

чтобы их постепенно сглаживать. Ввиду такой победы реакции над либерализмом — именно так обычно изображались судьба политики парламентского блока и падение князя Бюлова — социал-демократические и демократические газеты с необыкновенной страстностью вопили о всеобщей отсталости наших политических порядков, направляемых будто бы всемогущей кастой юнкеров, совершенно не учитывая при этом, какие ложные представления могли вызвать за границей эти слишком далеко заходящие преувеличения. Мне неоднократно приходилось слышать жалобы на оказываемое этими заявлениями действие со стороны немцев, знающих фактическое положение дел и прислушивающихся к отзвукам за границей, и можно смело утверждать, что развитая во время войны пропаганда ненависти и презрения к нам питалась указанным источником не меньше, чем источниками пангерманизма.

Я лично в полной мере испытал на себе расхлябанность в наших внутренних отношениях. Ни одна партия не хотела подвергнуться упреку, будто она проводит правительственную политику. Уже по этому одному была исключена всякая возможность образования твердого парламентского большинства. Сверх того, разница в политических убеждениях делала для меня невозможным приноровление моей общей политики к тем партиям, которые, наконец, провели налоговую реформу, так же, как, с другой стороны, невозможна была политика в духе социал-демократии и прогрессивной партии. Образование большинства для каждого отдельного случая — вот единственный исход, который оставался. И, действительно, таким путем удавалось в продолжение целого ряда лет проводить в приемлемой форме почти все правительственные законопроекты, в том числе и такие весьма острого характера законы, как Эльзас-Лотарингская конституция, закон о государственном страховании и крупные кредиты на военные сооружения. С точки зрения, свободной от партийной и по-

литической предвзятости, нужно признать, что законодательство в его целом хотя и приняло таким образом направление, уязвимое с партийно-догматической точки зрения, все-таки в большей мере соответствовало многогранным практическим потребностям, чем законодательство, всецело зависящее от господства партий.

Вообще, в основе моего стремления ставить правительство выше партий, столь часто подвергавшегося иронической критике, лежала конечная цель, которую я рассматривал, как главную цель внутренней политики, и которая другим путем мне казалась недостижимой. Для тех, кто способен подняться над предрассудками, совершенно бесспорно и ясно, что социал-демократия, несмотря на ее ожесточенную борьбу против всего исторически-традиционного, на-ряду с многочисленными экономическими и политически неосуществимыми утопиями, преследовала также и великие, проникнутые идеальными началами цели, соответствующие тенденциям политического и экономического развития современного мира. Исчисляемые миллионами приверженцы этой партии рекрутировались преимущественно из рабочего класса, который уже мог сослаться на свои большие достижения в области производительной деятельности и был путем строжайшей дисциплины прочно спаян экономически—профессиональными союзами, а политически — партийной организацией. Мнение, что эту силу можно подавить репрессивными насильственными мерами, коренилось в ошибочном представлении о пределах возможного для государства, а господствовавшее в некоторых буржуазных кругах желание оставить социал-демократию в положении партии, явно враждебной империи и государству, может быть, даже еще глубже загнать ее в этот тупик, — было фактически неосуществимо и несовместимо с задачами, отвечающими моему пониманию мирной политики, стремящейся к сохранению государства. Свои взгляды в этом вопросе я выразил уже в качестве статс-секретаря по внутрен-

ним делам, указав в своем приветственном слове на конгрессе германских рабочих, как на важнейшую задачу момента, на необходимость включения рабочего движения в основы существующего общественного строя. Вскоре после того я настойчиво отстаивал те же мысли при защите в рейхстаге, к сожалению провалившегося, законопроекта об учреждении посреднических рабочих камер. Этой линии я держался неизменно, особенно во время войны.

К постепенному привлечению социал-демократии к положительному государственному сотрудничеству постоянно встречались, однако, крупные препятствия. Резко оппозиционная позиция социал-демократов при голосовании государственных смет и расходов на военные нужды, террористические эксцессы в борьбе за заработную плату, подчеркивание интернационалистических тенденций движения и неоднократные оскорбительные выходки против монарха — делали для широких буржуазных кругов, которые, отчасти по убеждению, отчасти по привычке, рассматривали постоянную безоговорочную борьбу с социал-демократией, как первейшее требование добропорядочности, подозрительным всякого государственного деятеля, который решился бы итти по другому пути. Ссылались на заветы Бисмарка, не взирая на то, что даже самые убежденные поклонники его политики против социал-демократии не могли не заметить наступившей с течением времени перемены обстоятельств. Если социал-демократы и могли мотивировать свое озлобление теми преследованиями, которым они подвергались в эпоху исключительных законов, и той травлей, которая происходила позднее, то все же они и сами постоянно лили воду на мельницу своих противников и нисколько не облегчали борьбы с теми общественными кругами, которые настойчиво требовали исключительных законов.

Эти неопределенные и неустойчивые взаимоотношения партий очень неблагоприятно отражались на руководстве

внешней политикой. Слишком тяжелым было внешнее положение Германии, чтобы позволить себе роскошь страстной внутренней борьбы, которую за границей, настроенной к нам враждебно, могли только приветствовать, как признак нашей слабости. Как ни настойчиво требует политическая жизнь откровенной критики событий и лиц, но несдержанность в этом отношении таит в себе опасность создать впечатление политической незрелости: без внутренней сплоченности, умеющей обуздать излишнюю иронию критики, невозможна успешная защита интересов страны за границей.

Немецкий народ лишь с трудом привыкал уделять внешним проблемам то внимание, которого требовало его фактическое вступление в мировую политику. Такое впечатление можно было вынести из ежегодных дебатов его представителей в рейхстаге при обсуждении бюджета: иногда то или иное случайно брошенное слово, способное вызвать и, действительно, совершенно бесцельно вызывавшее озлобление за границей, невольно заставляло сомневаться в том, достаточно ли учитывается при обсуждении вопросов общей политики опасность нашего внешнего положения, которая при дебатах о военных кредитах часто слишком сильно подчеркивалась. Народ в общей своей массе вовсе не был склонен к шовинизму. Немецкий народ не читал ни Нитцше, ни Бернгарди и не мечтал ни о завоеваниях, ни о всемирном владычестве: ярко выраженное материалистичное направление нашего времени нашло себе полное удовлетворение в сказочном под'еме хозяйственной деятельности страны. Этому основному направлению в общем отвечало и поведение партий, несмотря на националистические тенденции некоторых из их представителей. Без сомнения, социал-демократия, которая со своими интернациональными устремлениями, с отказом от всякой политики вооружений и отстаиванием идеи международных третейских судов — защищала, внутренне вполне последовательную, программу, как раз этим подчеркиванием ин-

тернациональных моментов способствовала обострению выступлений противной стороны, что повело к резким столкновениям и завершилось роковым антагонизмом национальных и антинациональных партий. Пангерманская пропаганда, с своей стороны, лишь содействовала развитию таких отношений.

Как ни ложно представление, распространившееся за границей во время войны, что в пангерманизме выражается основной характер немецкого народа, все же уже в 1909 году стало ясно, что в консервативной и национал-либеральной партиях пангерманское движение обрело благоприятную почву. На правительственную политику это, однако, не оказывало влияния. В самом начале моей канцлерской деятельности я уже был вынужден весьма резко реагировать на выступление одного из пангерманских ферейнов (союзов). Но до какой степени затруднялась внешняя политика, благодаря тому, что партии, имевшие сильную опору в прусском государственном организме, в армии, флоте и крупной промышленности, проявляли родственные пангерманским идеям тенденции,— это я достаточно испытал во время марокканского кризиса в 1911 году и при попытках соглашения с Англией. Нельзя утверждать, что консерваторы и национал-либералы преследовали в своей политике цели определенно воинственного характера. Но они не пренебрегали приемами, которые недоброжелателями могли рассматриваться, как проявление высокомерия, и, упрекая меня в слабости, тем самым затрудняли мои попытки сгладить внешние трения. Излюбленные ссылки на Бисмарка придавали подобным обвинениям тем большую убедительность, что эпигоны всегда бессильны сравняться с прообразом героя, хотя бы политические методы последнего и были впоследствии искажены его приверженцами, а изменение общих условий с необходимостью порождало и изменение прежней политики.

Все усиливающееся сближение консервативных и национал-либеральных воззрений с пангерманским течением имело

корни в условиях внутренней и внешней политики. Материальный характер всех жизненных общественных интересов, которым роковым образом ознаменовались последние десятилетия, должен был повлиять и на политические партии. У консерваторов он проявился в преобладающем влиянии союза аграриев и его интересов, у национал-либералов — в преобладании крупной промышленности. Но от идейных стремлений, как они проявлялись раньше, ни одна партия не могла совершенно отказаться. Поневоле нашлись общие точки соприкосновения с теми кругами, в которых громче всего раздавались национальные лозунги и от которых высокие партийные традиции не позволяли отставать в выявлении национальных чувств. Возбуждение, естественно вызванное политикой изоляции, которая всем народом воспринималась, как провокация, обостряло настроение. Надо самым настоятельным образом подчеркнуть, что чрезмерное проявление пангерманизма в значительной мере было лишь эхом тех страстных выпадов шовинизма в странах Антанты, который — в отличие от Германии — находил там почву в официальной политике. Этот момент сохраняет все свое громадное значение, совершенно независимо от того, что пангерманские идеи производили в немецких головах большую путаницу и могли быть использованы нашими врагами для дискредитирования самой сущности немецкого духа. Если нас и можно упрекнуть в чрезмерном проявлении национальных чувств, то ведь с противной стороны был прямо брошен насторожившемуся миру клич: Germaniam esse delendam (Германия должна быть разрушена), правда, в форме трезвых деловых соображений, но поэтому, может быть, еще более убедительный.

№ 372983

ГЛАВА ВТОРАЯ.

ЗАТРУДНЕНИЯ С ФРАНЦИЕЙ.

Когда французский посол Жюль Камбон весной 1911 года уведомил меня о предстоящем походе на Фец, он не мог скрыть некоторого смущения. Слишком явно противоречило это новое выступление французской политики так часто высказываемому им мне стремлению к установлению хороших отношений между обоими государствами. Если уже Алжезирасский договор был в сущности победой, завоеванной для Франции «entente cordiale» (сердечным согласием), и если потом французская политика пыталась постепенно устранить еще тогда проведенные ограничения ее роли в Марокко, то теперь предполагалось сделать энергичный шаг по пути протектората, игнорируя международные соглашения. В Париже, конечно, не верили тому, чтобы мы, которые событиями 1905 г. были втянуты в политику и на-ряду с Францией являлись главными представителями материальных интересов в Марокко, могли обойти молчанием этот самоуправный, нами ничем не вызванный шаг. Но господа с Орсейской набережной не реагировали на наше желание заменить распадавшийся вследствие поведения Франции Алжезирасский договор новыми соглашениями о взаимных правах обеих сторон. Тогдашний статс-секретарь по иностранным делам, фон-Кидерлен-Вехтер, быть может, самый способный немецкий дипломат последнего времени, но несколько отда-

С.С.С.Р. ИНСТИТУТ ... Ц.И.К.

лившийся вследствие затянувшейся относительной бездеятельности на своем Балканском посту от существеннейших проблем нашей политики и, к сожалению, слишком поздно призванный к ответственному сотрудничеству в центре, — пришел, наконец, к заключению, что без применения какого-нибудь сильного средства нельзя заставить Францию вступить в переговоры. Так возникло столь нашумевшее дело с посылкой канонерской лодки «Пантера» в Агадир. Это было лишь вынужденное уклончивым поведением Парижского Кабинета выражение нашего желания добиться исчерпывающего об'яснения — оборонительный ответ на агрессивное поведение Франции.

Третьим моментом, характеризующим создавшееся положение и предопределяющим ход дальнейших событий, явилось угрожающее Германии поведение Англии, выразившееся в известной речи Ллойд-Джорджа [1]). Все эти моменты следует помнить, чтобы правильно оценить значение кризиса для слагавшихся мировых отношений. Хотя неожиданный прыжок «Пантеры» вызвал сначала сенсацию и бес-

---

[1]) 21 июля 1912 г. Ллойд-Джордж выступил с речью на банкете Mansion house (во дворце лорд-мэра). Указав на благодеяния мира и историческую роль Англии, он продолжал: «Если нам будет навязано положение, при котором мир может быть сохранен только ценой нашего отказа от высокого и благотворного значения, достигнутого Британией веками героических усилий, и если в вопросах, где затрагиваются ее жизненные интересы, будет допущено такое обращение с ней, как если бы она потеряла свой голос в совете народов, то — я утверждаю и настойчиво подчеркиваю — такою ценою купленный мир был бы нашим унижением, которое для великой страны, подобной нашей, перенести было бы невозможно». Послу графу Вольфу Меттерниху после этого было поручено энергично протестовать перед сэром Эдуардом Греем против провокации Ллойд-Джорджа. Мы никогда не намеревались вмешиваться в английские права или интересы. Такие намерения существуют только в английском воображении. Подобные угрожающие предостережения, однако, могут только побудить нас к более твердому отстаиванию своих прав.

покойство, однако державы, которые потворствовали всякому самоуправству Франции, но порочили перед всем светом протестующую против этого Германию, как нарушительницу мира, не могли не понять, что для угрозы Франции войной, наверно, было бы выбрано иное средство, нежели посылка маленькой канонерской лодки для стояния в порту Агадира. Сверх того, своим непоколебимым соблюдением принятого курса немецкая политика показала, что с самого начала она не преследовала никакой иной цели, кроме мирного разрешения вызванных Францией разногласий.

Заносчивые слова Ллойд-Джорджа, естественно, должны были сильно взволновать Германию. Стремление к всемирному владычеству, в котором нас впоследствии лицемерно обвиняли, обнаружила в данном случае сама Англия, оправдывая всякую войну, которую Великобритания вздумала бы вести за признание своего верховенства. Какой резкий контраст с столь популярными во время мировой войны излияниями о равноправии наций и о своей собственной беспредельной любви к миру! Подавить волнение было почти невозможно. Недоверие к Англии, созданное политикой короля Эдуарда, глубоко вкоренилось за последние годы; это озлобление в Германии не ограничивалось только явно шовинистическими кругами и так называемыми милитаристами, но охватило народные слои, искренне настроенные в пользу мира. Император, хотя лично чрезвычайно угнетенный, не позволил в эти напряженные недели ни на одну секунду поколебать себя в своих намерениях, и я мог в полном согласии с ведомством иностранных дел продолжать политику переговоров, которые, наконец, и закончились договором 4 ноября 1911 г.

Резкая критика, которой эта политика подверглась в рейхстаге, мне и теперь не представляется политически разумной. Такие страстные нападки на того, кто способствовал предупреждению смертельной опасности, внушали за

границей ложное подозрение, будто у нас были склонны вызвать катастрофу. Если это делалось с целью предостеречь Англию, то при этом совершенно не учитывалось, что столь резкие выражения с парламентской трибуны должны были оказать на англичан, с их складом характера, действие, обратное желаемому. Опыт 1902 г.,—когда сам по себе необходимый корректив к допущенной Чемберленом ошибке вполне удовлетворил наше общественное мнение, но тяжко оскорбил английское, — должен был послужить предостережением[1]). Таким образом, хотя, быть может, и неумышленно, публично обесценивалась моя политика, ставившая своей задачей держать огонь подальше от накопившегося взрывчатого материала. До какой степени ирреально оценивалось иногда положение, показывал достойный удивления взгляд депутата Бассермана, считающегося в своей партии авторитетом по вопросам внешней политики, который полагал, что раз французы не хотели вступить в переговоры, то им следовало внушить понятие о серьезности положения не посылкой «Пантеры», но посредством военных мероприятий, которые должны были развернуться на западной границе, так как все распри с Францией, ведущие к войне, решаются не в Африке, а в Европе.

Следовало бы также сдержать и насмешливые выпады против будто бы не имеющего никакого значения договора 4 ноября. Несомненно, за кулисами здесь действовали несбывшиеся надежды индустриальных кругов, которые уже до наступления кризиса, благодаря своему сильно возростающему влиянию, в особенности на национал-либеральную партию, неустанно поддерживали в рейхстаге интерес к марокканскому вопросу и пытались, опираясь на мощные средства публицистики, направить политику всей страны в пользу имеющих несомненно лишь ограниченное значение

---

[1]) Заседание рейхстага 8 января 1902 года.

промышленных интересов. Если даже раздававшиеся тогда жалобы оправдались различными, несовместимыми с экономическим соглашением 1909 года, каверзами и плутнями Франции против деятельности немецкой промышленности в стране шерифа, то все же казалось, что ни тогда, ни во время кризиса 1911 года, ни по его завершении у нас не давали себе ясного отчета в том стесненном положении, в котором мы находились, вследствие существовавшей группировки держав, и не учитывали того обстоятельства, что это было тяжелое наследство, которое необходимо еще ликвидировать.

Заслуживает упоминания один характерный для взглядов императора эпизод. Для того, чтобы по возможности ослабить демонстративный характер, который приняло заседание рейхстага 9 ноября, благодаря нескрываемому одобрению, которое поддающийся пангерманским влияниям кронпринц высказал по поводу известных взбудораживающих выражений отдельных депутатов, — император еще во время заседания пригласил меня на тот же вечер к себе и предоставил мне сделать присутствующему кронпринцу разъяснения в том же духе, в каком я должен был на следующий день произнести речь в рейхстаге в ответ на речь депутата фон-Гейдебранда [1]). Так решительно и определенно одобрял император политику сглаживания мировых противоречий.

[1]) 29 октября г. фон-Гейдебранд в очень резких выражениях жаловался на собрании консервативной партии в Бреславле на упадок немецкого мирового авторитета и говорил о «грандиозной беззастенчивости» английского министерства. Если даже либеральное министерство, считающееся в Англии менее воинственным, позволяет себе показывать кулак у нас перед носом и об'являет себя единственным повелителем мира, то это для нас, имеющих у себя за плечами 1870 год, очень горько. Момент до того серьезен, что он не считает допустимым для патриота на глазах всего мира срывать теперь германское правительство. Консерваторы, однако, никогда не оставляли у верховной власти сомнения в том, что если она сочтет нужным защищать честь и могущество империи, то консервативная партия вся, как один человек, станет за нее. На заседании 9 ноября фон-Гейдебранд взял еще

Результат, и притом большого исторического значения, этого второго марокканского кризиса, как мне кажется и до сих пор, заключается в том, что Франция опять получила убедительное доказательство того, как прочно она может рассчитывать во всех разногласиях с Германией на поддержку Англии, даже когда британские интересы затронуты лишь косвенно.

Впрочем вызывающая политика Франции в Марокко одобрялась далеко не всеми французскими политиками. L'impatience des réalisations (жажда немедленной реализации), как назвал ее один остроумный француз, была не по вкусу тем, которые работали над постепенным изменением соотношения сил во вред центральным державам, и которым мешал слишком быстрый ход событий в Марокко. Существовала также небольшая группа финансистов и политиков, не чуждых идее совместной работы с немецким капиталом в известном ограниченном числе предприятий. Колониальное сотрудничество также казалось вполне возможным. Индустриальные связи были уже налицо, и открывались перспективы дальнейшего их развития. Но и поклонники таких комбинаций считали нужным подчеркнуть, что великий, раз'единяющий оба народа вопрос оставался все же открытым. Рано или поздно европейская распря должна была вспыхнуть, а пока можно было при случае завязывать небольшие политические и де-

---

более воинственный тон и сделал публично резкие нападки по адресу правительства: «Мир обеспечивается не уступчивостью, не сближениями и соглашениями, но только нашим добрым мечом и нашей надеждой, которую должны разделять и французы,—обрести такое правительство, которое не допустит, чтобы этот меч ржавел в нужный момент...». Я возражал на эти и другие заявления на следующий день с той резкостью, которой требовало общее положение, и так формулировал свой призыв к благоразумию: «Сильному вовсе нет надобности кричать о своем мече. Что мы нисколько не уронили достоинства Германии перед лицом английского министерства, это раз'яснил г. фон-Кидерлен-Вехтер в своем обстоятельном докладе в бюджетной комиссии».

ловые сношения. Мысль о всеобщем соглашении встречала отпор каждый раз, как только она возникала; любезность, оказывавшаяся, в особенности императором, в отношении выдающихся французов, посещавших Германию, в лучшем случае отмечалась с вежливостью, но всегда с недоверием. Стихийного течения событий нельзя было изменить — оно определенно шло в направлении шовинизма. Кабинет, заключивший договор относительно Марокко ценой весьма скромной, собственно говоря, жертвы за счет французской колониальной территории, должен был вскоре подать в отставку. Люди, которые вели переговоры с немцами, уже этим самым стесняли французских политиков.

Новый министр-президент был надеждой националистов и не скрывал своих антигерманских тенденций. С совершенно определенным намерением Раймонд Пуанкарэ выставлял на вид свое происхождение с лотарингской границы. Явно националистический дух сквозил во всех его заявлениях; их действие можно было ясно проследить в Эльзас-Лотарингии. Г. Пуанкарэ, конечно, не стеснялся пожать плоды трудов своего предшественника в отношении протектората над Марокко. Но более всего он заботился о военном усилении Антанты. Французская литература справедливо приписывает ему, в качестве главной заслуги, выяснение вопроса о союзной помощи Англии путем обмена нотами между Греем и Камбоном. К этому следует еще прибавить и договоры о дислокации морских сил, позволившие значительную часть английского флота сосредоточить в Северном море. Каких успехов достигло развитие шовинизма в 1913 г. — стало особенно ясно, когда г. Пуанкарэ значительным большинством голосов был выдвинут на пост президента республики. Совершенно открыто заявлялось, что президентские выборы определялись соображениями внешней политики. Франция под руководством этого президента была готова на самые тяжелые жертвы. Еще будучи председателем совета министров,

Пуанкарэ из своей поездки в Россию привез — по совершенно достоверным сведениям — обязательство ввести и во Франции трехлетнюю воинскую повинность. Он твердо решил использовать Францию в военном отношении до последнего предела. Он встретил поддержку в лице социалистического министра-президента, а также в лице ближе стоящего к нему в политическом отношении г. Барту, кабинет которого и провел трехлетнюю воинскую повинность приблизительно в то самое время, когда германский рейхстаг принял последний крупный военный законопроект. Не взвесив до конца всех бедствий, ожидающих не только побежденных, но и победителей, он подготовил войну, способствуя созданию общего положения, угрожающего миру.

С первого же дня, по ходу моих переговоров с г. Камбоном, я мог ясно заметить изменение тона французской печати, происшедшее одновременно с восхождением г. Пуанкарэ к власти. До того времени французский посол много раз распространялся на тему, что путем личных сношений между руководящими государственными деятелями, в налаживании которых сам он готов взять на себя посредническую роль, можно достигнуть лично ему столь желательного взаимного понимания. И, без сомнения, своим упорным терпением и благожелательностью он способствовал мирному окончанию затянувшихся переговоров относительно Марокко. С тех пор посол, однако, заметно изменился. К старому мотиву «личных отношений» он больше не возвращался и, посещая меня после своих частых поездок в Париж, хотя и оставался попрежнему предупредительным, но, как только речь заходила об общественном настроении во Франции, становился, несмотря на всю изысканную находчивость французского «ésprit», односложным и избегал всякого намека на уверения, будто и министерство Пуанкарэ руководится такими же миролюбивыми планами, какие он неоднократно приписывал прежнему кабинету.

Нельзя было не заметить того развития, какое совершила Франция за последние годы до войны. Это не было преувеличением, когда говорили о явном возрождении нации после поражения ее в 1870 году. Наш военный атташе в Париже — г. фон-Винтерфельд постоянно указывал в своих докладных записках на заметный рост армии в качественном отношении, свидетельствующий об оздоровлении всего народа. Быть может, знакомство с истинным характером наших западных соседей было у нас недостаточно глубоким и серьезным для того, чтобы мы могли, помимо известных безвкусных и грубых бульварных явлений, оценить по достоинству происходящее во Франции развитие. Что с общим ростом народных сил у такой гордой своей военной традицией нации, как французы, вспыхнули и шовинистические страсти, представляет собой явление, свойственное определенным стадиям всякого исторического развития. Развал 1870 г. нельзя было забыть, и — быть может, даже при отсутствии прямого стремления к нему — идея реванша за военное поражение все-таки глубоко коренилась в народном сознании, тем более, что правительство систематически уже в школах воспитывало детей в духе шовинизма. Неверно, конечно, будто потеря Эльзас-Лотарингии не давала народу покоя. Правда, в департаментах, непосредственно смежных с ней, постоянно тлела, не угасая, все та же мысль о возврате потерянных провинций. Но в остальной Франции народ едва ли из-за этого вопроса отказался бы от искреннего и прочного соглашения с нами, если бы всесильные парижские заправилы пошли бы этому навстречу. Но так как последние, в особенности под руководством Пуанкаре,—будь это из патриотических убеждений или из личного честолюбия, или потому, что только таким путем они надеялись среди хаоса партийных распрей укрепить свою власть,—все определеннее шли против Германии, то народ принужден был следовать за ними. Ибо ни в одной стране влияние честолюбивого меньшинства не сказы-

вается в большей степени, чем во Франции. Сами французы перед войной мастерски изображали это положение вещей.

Даже французский социализм не умел успешно бороться против этого националистического опьянения. Как образец тех средств, которые во Франции, всегда громко хвастав-шейся своим высоким социальным уровнем, употреблялись в борьбе шовинизма против социализма, мне запомнилась одна иллюстрация в столь распространенном «Фигаро», относящаяся ко времени первого марокканского кризиса: на ней изображен французский солдатик с наступающим на него, в виде ажитированной старухи, социализмом и подписано: «Старуха, ты зря стараешься, твое время прошло!».

Не наблюдался ли еще в 1914 г. поворот в иную сторону? На выборах в палату депутатов 26 апреля получилось, правда, надежное большинство в пользу трехлетней воинской повинности, но перевыборы в мае представляли собой полную победу социалистов, одержанную, как Жорес писал в «L'Humanitè», «против необузданных клевет национализма и регресса». А 16 июля конгресс французских социалистов принял резолюцию для представления ее на рассмотрение Венского международного социалистического конгресса, в которой, ссылаясь на заявление эльзасских социал-демократов и Иенского партейтага германской социал-демократической партии, требовал «предоставления Эльзас-Лотарингии автономии, в твердом убеждении, что таким путем значительно облегчится необходимое для всеобщего мира сближение между Францией и Германией». Ход событий мировой истории, переступив через труп Жореса, принял другое направление. Пуанкарэ не было никакого дела ни до сближения, ни до автономии. Эльзас-Лотарингию он хотел попросту отобрать. В этом ему должны были способствовать г.г. Сухомлинов и К°.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

ПОПЫТКИ СОГЛАШЕНИЯ С АНГЛИЕЙ.

К самому началу моей канцлерской деятельности относятся попытки путем налажения переговоров по определенным конкретным вопросам преодолеть то недоверие, которое тяжелым бременем лежало на наших отношениях с Англией. У самого императора сложилось впечатление, что перспективы на этот счет в Англии не совсем неблагоприятны, и в первые дни августа 1909 г. я начал переговоры с английским послом, сэром Эдуардом Гошеном в связи с вопросом о флоте. Как мне показалось с самого начала, посол был настроен скорее скептически, да и потом у меня сохранилось впечатление, что он, хотя его дед был немец, едва ли стал бы горячо и искренно отстаивать подлинное сближение между обеими странами. Он, во всяком случае, был гораздо холоднее своего предшественника при берлинском дворе, сэра Франка Лэсцелля, который убежденно защищал идею сближения. Тянувшиеся весьма долго переговоры не привели к желательному результату, так как, с одной стороны, лондонский кабинет не обнаружил особой заинтересованности в их успехе, а с другой — не было найдено формулы, удовлетворяющей адмиралтейство.

После того, как улеглась буря, грозно обнаружившая, вследствие вмешательства английского правительства в марокканские разногласия, призрак войны, и в Англии стали

с разных сторон делать попытки к уяснению пользы и вреда проводившейся до сих пор политики. Небольшая группа либеральных политических деятелей резко выступила против внешней политики сэра Эдуарда Грея и требовала серьезного пересмотра политики английского кабинета, дальнейшее осуществление которой в том же духе должно было повлечь за собой серьезную опасность для общего мира. Характерна для этого времени одна статья английского еженедельника «Nation», периодического издания, настойчиво выступавшего против всяких воинственных тенденций и об'единявшего круг вдумчивых и влиятельных представителей идеи мирного улажения конфликтов. В этом журнале в октябре 1911 г. появилась следующая заметка: «Окончание марокканского эпизода вернуло нам свободу действий...». Отношения между обоими соперниками предварительно должны были стать сердечными и доверчивыми, и тогда только явилась бы возможность говорить об ограничении роста морских сил. А это зависит от способности германской и английской дипломатии совместно работать для будущего. «Мы дошли до того, что везде и повсюду видим Германию, как Германия везде видит Англию, и всегда в позах враждебных и недоверчивых».

В этих кругах зашли так далеко, что стали требовать отставки сэра Эдуарда Грея, — требование, не имевшее никаких шансов на успех, так как в кабинете трио — Асквит, Грей и Хольден — цепко держалось друг за друга. Эти три либеральных империалиста, как еще в 1916 г. назвал их один близкий к лорду Хольдену деятель, нашли в лице Ллойд-Джорджа надежную опору во всех основных вопросах внешней политики, при чем и новый первый лорд адмиралтейства, Уинстон Черчиль также тесно примкнул к ним. Все же настроение внутри страны, повидимому, убедило кабинет осенью 1911 года в необходимости сделать серьезную попытку улучшить немецко-английские отношения. Нация

с ужасом увидела, как близко подошла она к бездне военной катастрофы, в то время как английский народ в массе своей так же мало хотел войны, как и народные массы Франции и Германии. Что глубокое волнение у нас не являлось искусственно созданным, а было результатом обострившегося — благодаря речи Ллойд-Джорджа—антагонизма обеих стран, хорошо понимали по ту сторону канала; там не могли закрыть глаза на дальнейшие последствия этого, которые нашли себе выражение в захватившей широкие немецкие круги агитации в пользу усиления флота. Но как раз это напряжение в общественных настроениях обеих стран действовало парализующе на зародившуюся в них идею сближения. В то время, когда в Германии уже с августа все, кто придавал усилению нашего флота решающее значение для безопасности страны, бурно требовали нового судостроительного законопроекта, в Англии, считавшей первенство своего флота вопросом жизни, старались предотвратить предстоящую необходимость нового грозного увеличения морских расходов усиленными указаниями на то, что увеличение немецкого флота несовместимо с улучшением немецко-английских отношений. Речи английских министров подчеркивали, что Англия сделает все возможное, чтобы остаться на прежней высоте и сохранить прежнее численное превосходство своего флота над германским. Так, с самого начала, в желание сближения вплетались с обеих сторон нити, которые очень трудно было распутать.

В первых числах декабря император из'явил свое согласие приступить к выяснению точки зрения английских государственных деятелей. Руководящей мыслью для нас было установление некоторого общего политического единомыслия для перехода затем к соглашениям детального характера. Напряженное мировое положение вызывалось, собственно говоря, той уверенностью, с которой полагалась на английскую поддержку франко-русская политика, в конечных своих

целях определенно нам угрожающая. Англия, правда, заявила, что она никогда не оставляла Франции никакого сомнения в том, что не станет поддерживать ее нападение на Германию, если оно не будет провоцировано последней. Но такие заявления не могли иметь решающего значения, раз они были сделаны in camera caritatis (дружески-конфиденциально). После того как Франция в марокканском кризисе только что на глазах всего мира получила со стороны Англии такое убедительное доказательство самой крепкой дружбы, надеяться на постепенное уничтожение мысли о реванше, как раз теперь оживавшей под руководством Пуанкарэ, можно было только в том случае, если бы решение Англии установить с Германией добрые отношения было выявлено прямо и открыто в форме документа. И только таким образом казалось мне возможным освободить обсуждение вопроса о флоте в Германии от той нервности, которая в конечном счете возникла в результате существующей группировки держав.

Беседа германского посла в Англии с сэром Эдуардом Греем, состоявшаяся незадолго до Рождества, казалось, обещала довольно благоприятные перспективы. Затем, в конце января в Берлин без всякого шума приехал сэр Эрнест Кессель, известный английский финансист, и, ссылаясь на общее поручение Грея, Черчиля и Ллойд-Джорджа, вручил императору меморандум, содержание которого приблизительно сводилось к следующему: признание английского перевеса на морях, отказ от расширения германской судостроительной программы, по возможности, даже сокращение ее; со стороны Англии — обещание не ставить препятствий нашему колониальному расширению, обсуждение и поддержка наших колониальных устремлений, поддержка проектов и всякого рода заявлений, сводящихся к взаимным обещаниям не принимать участия в агрессивных планах или комбинациях, направленных против Англии или Германии.

Кессель увез с собою ответ, который приветствовал все шаги, направленные к улучшению отношений, и заявил о нашем согласии на указанные предложения, с тем лишь ограничением, что в вопросе о флоте нашей платформой оставалась наша судостроительная программа плюс выработанный законопроект. Было указано, что в ближайшее время был бы желателен визит сэра Эдуарда Грея. Вскоре через того же посредника нам сообщили о готовности Грея явиться для личных переговоров в Берлин, в случае если заключение договора представляется обеспеченным, и о намерении английского кабинета послать военного министра Хольдена с частной миссией для выяснения этого в Германии. При дальнейшем ведении неофициальных предварительных переговоров, мы дали знать в Лондон, что в вопросе о новом судостроительном законопроекте возможны уступки, но, конечно, только при одновременном предоставлении нам достаточных гарантий в дружественной ориентации английской политики.

8 февраля лорд Хольден прибыл в Берлин. Наша продолжительная и интимная беседа приняла самые дружеские формы и велась с очень большой откровенностью. Хольден настойчиво подчеркивал, что влиятельные лица Англии стремятся к созданию не только лучших, но даже дружественных отношений. На следующий день Хольден имел собеседование с императором, на которое был также приглашен адмирал фон-Тирпиц. Казалось, что соглашение — на хорошем пути. Мы пошли на уступку, отсрочив постройку трех предусмотренных в нашем законопроекте судов, первого — до 1913 г., а остальных двух — до 1916 и 1919 г.г., что, повидимому, удовлетворило английского министра. В частном разговоре он заявил о своих чрезвычайно отрадных впечатлениях и выразил глубокую надежду на удачу этих переговоров, которым он придавал всемирно-историческое значение.

Со стороны Германии был составлен обстоятельный проект договора, ядром которого было прочное соглашение

о взаимном нейтралитете Англии и Германии. Формулировано оно было следующим образом: «В случае вовлечения в войну одной из высоких договаривающихся сторон против одной или нескольких держав, другая договаривающаяся сторона соблюдает по отношению к первой, вовлеченной в войну, по крайней мере, доброжелательный нейтралитет и всеми силами стремится к локализации конфликта».

Хольден, с своей стороны, предложил следующую формулу: «Ни одна из обеих держав не совершит какого-либо непровоцированного нападения на другую, не будет подготовляться к таковому или принимать участие в каком-нибудь союзе против другой с целью нападения на нее, или вовлекаться в какое-нибудь соглашение относительно морского или сухопутного выступления, направленного к такой же цели, ни единолично, ни совместно с другой державой».

Остальная часть проекта договора посвящена колониальным вопросам, в которых Хольден делал нам многообещающие предложения в компенсацию за уступки со стороны Германии в вопросе о Багдадской железной дороге. Кроме расширения германских колониальных владений в юго-западной Африке на основе соглашения о приобретении португальской Анголы, он имел в виду также предоставление Германии Зензибара и Пембы.

Во время дальнейшего обсуждения формул, предложенных обеими сторонами, английский министр согласился с тем, что его предположение слишком слабо обязывает Англию; однако он с самого же начала об'явил, что наша формула слишком широка. Для придания полной ясности своему взгляду он привел несколько примеров. Так, Англия может напасть на Данию, чтобы там укрепиться с целью создания морской базы или чтобы в какой-либо иной неприемлемой для Германии форме произвести на Данию давление; в таком случае Германии необходимо сохранить за собою свободу действий; и в том случае, если Германия нападет на Францию, Англия

тоже не может считать себя связанной. Если я не сомневался в том, что пример с Данией имел чисто теоретическое значение, то в иной связи английский министр, повидимому, серьезно высказывал опасения, что мы нападем на Францию, если только будем уверены в нейтралитете Англии. Хотя при дальнейшем личном общении со мною он и не отстаивал этого подозрения, опровергаемого достаточно самим поведением Германии за последние десятилетия, но зато неоднократно и внушительно подчеркивал, что более близкие отношения с Германией никоим образом не должны итти в ущерб связи Англии с Францией и Россией. При всем этом я вынес впечатление, что Хольден был настроен безусловно доброжелательно. Он делал попытки об'единить наши формулы и принял мысль о благожелательном нейтралитете с оговоркой, что он это распространяет лишь на такие войны, в которых договаривающаяся сторона не является наступающей.

В вопросе о флоте, который, как уже было упомянуто, в беседе императора с адмиралом фон-Тирпицем и лордом Хольденом принял вполне благоприятный оборот, лорд Хольден признал, что нам необходимо провести новый морской законопроект и иметь третью эскадру. Формирование этой эскадры, правда, заставит Англию усилить свой флот в Северном море, но это для нее не существенно. Самое главное значение он придавал тому, чтобы Англия не была вынуждена отвечать двойным количеством новых судов на сверхпрограммную постройку дредноутов. Он признавал, что английские пожелания о растяжении строительного периода для трех дредноутов, предусмотренных новым законопроектом, будут удовлетворены, если постройка их будет определенно назначена на 1913, 1916 и 1919 г.г. Но он только не знает, как посмотрит на это английский кабинет, и потому ставит вопрос, не может ли Германия на ближайшие три года воздержаться от всякой постройки новых военных судов. Если бы мы пришли к political agreement (политическому соглаше-

нию), то отношения приняли бы настолько дружественный характер, что усиленное военно-морское строительство в дальнейшем уже не смогло бы им повредить.

Я не входил в обсуждение этих технических вопросов и, с своей стороны, подчеркнул, что, поскольку речь идет о вопросе политического характера, об'ем political agreement (политического соглашения) будет иметь решающее значение.

Сэр Эдуард Грей в первой своей беседе с нашим послом по возвращении Хольдена выразил свое полное удовлетворение. Он заявил, что сообщение Хольдена о беседе со мной произвело на него глубочайшее впечатление и что он самым настойчивым образом будет способствовать этому делу. Он надеялся, что военную тучу, угрожающую обоим народам, удастся надолго рассеять. Все дальнейшее он поставил в зависимость от более подробного рассмотрения наших предположений. Проявления общественного мнения Англии были также вполне дружественными. В Нижней Палате — Асквит, в Верхней — лорд Крью выразили свое удовольствие по поводу начатых переговоров, и вожди оппозиции—Бонар Лоу и лорд Лансдоун в сердечной форме высказали свое желание достигнуть сближения с Германией. Английская печать воздерживалась от недружелюбных комментариев, но указывала, часто не без известной тенденции, что сохранение безусловной лойяльности по отношению к Франции является непременным условием всяких иных комбинаций.

Хотя Хольден лично считал наши уступки в вопросе о флоте достаточными, но английское адмиралтейство при подробном рассмотрении нашего морского проекта, врученного Хольдену, пришло к другому заключению. Вопрос о постройке дредноутов, которому Хольден придавал главное значение, адмиралтейство отодвинуло на задний план, но зато подвергло резкой критике остальное содержание проекта, в особенности усиление экипажа судов. Адмиралтейство утверждало, что, в случае принятия проекта, расход

на флот увеличится в Англии свыше чем на 18 миллионов фунтов стерлингов. С несомненностью выявилось недоверие к действительным или воображаемым планам наших морских властей, да и в германских морских кругах появились опасения, что нашим морским вооружениям может быть нанесен ущерб.

Лично я принял решение итти на крайние уступки в вопросе о новом морском законопроекте, если мне удастся создать равносильную компенсацию в виде политического договора. Но как раз в этом Англия не оправдала надежд. После утомительно долгих переговоров сэр Эдуард Грей в конце концов согласился на следующую формулу:

«Так как обе державы одинаково имеют желание обеспечить мир и дружбу между собою, то Англия заявляет, что она не сделает сама, без вызова со стороны Германии, нападения на нее и воздержится от агрессивной политики против последней. Нападение не предусматривается ни в одном договоре или комбинации, к которым Англия в настоящее время причастна, и в дальнейшем она не примет участия ни в каком соглашении, имеющем целью такое нападение».

Эта формула, которая нас обезопасила бы от ничем не вызванной воинственной политики самой Англии, но не от враждебной позиции ее в случае франко-русского нападения на нас, не могла достаточно разрядить напряженную атмосферу, создавшуюся в мировых отношениях. Ввиду этого мы предложили дополнение, что Англия сохранит доброжелательный нейтралитет, «если Германия будет вовлечена в войну против своей воли». От этого дополнения сэр Эдуард Грей, однако, отказался наотрез, из опасения, как он раз'яснил нашему послу, этим поколебать существующую дружбу с другими державами.

Это был решающий момент.

Если для английского образа мыслей о войне и мире достаточно характерен уже тот взгляд, что отказ от ничем не вызванной агрессивной политики представляет собою до-

казательство особой дружбы, то приведенный, как причина для отклонения нашего дополнения к договору, аргумент вскрывал те неожиданности, которые Англия считала возможными, как следствие франко-русского союза, и обнаруживал одновременно позицию Великобритании в entente cordiale (в сердечном согласии). Опасение сэра Эдуарда Грея только в том случае имело основание, если он учитывал возможность войны, навязанной друзьями Англии, и считал себя и в этом случае обязанным поддерживать дружественные державы. Если такие предпосылки были неправильны, то становится непонятным, почему так сильно ограниченный договор о нейтралитете, как предложенный нами, мог вызвать разногласия с Францией и Россией. И в этом резко проявилась противоположность английской и немецкой политики. Германия стремилась ослабить антагонизм между сложившимися группами держав и даже, по возможности, устранить его совсем. Успех наших стремлений одинаково способствовал бы как соблюдению наших собственных интересов, так и сохранению всеобщего мира. Англия, напротив, выдвигала на первый план ненарушимость той группировки, в которой она сама участвовала, а так как эта последняя острием своим была направлена, как всему миру было известно, против Германии, то это означало продолжение прежнего антагонизма. То была ее прославленная политика balance of power (равновесия сил).

К такому заключению должен прийти и тот, кто усвоил себе взгляд (и находит его подтверждение в событиях войны), что миссия Хольдена являлась для английских государственных деятелей лишь предлогом — путем фиктивных переговоров помешать осуществлению нашего нового морского законопроекта. Этот взгляд получил недавно подтверждение в одном английском произведении, которое, защищая Хольдена против английских обвинений, приходит, в общем, к выводу, что задачей Хольдена было поддержать хорошее на-

строение в Германии, пока Англия не закончит своих приготовлений на случай войны[1]). Возражать против такого толкования, хотя и противоречащего моим личным впечатлениям, тем менее входит в мою задачу, что оно исходит из источника, близкого к бывшему английскому военному министру. Я, с своей стороны, до сих пор склонен думать, что Англия искренне делала попытки сближения. Они потерпели крушение, потому что Англия не хотела признать необходимые следствия, вытекающие из этого сближения. Последнее лишило бы Францию и Россию уверенности, что в своей враждебной Германии политике они смогут в будущем рассчитывать на поддержку Англии. Но это было как раз то, чего Англия не хотела и, как доказывают опасения Грея по поводу нашего дополнения о нейтралитете, не могла допустить, связанная принятыми на себя обязательствами; это и была причина, по которой попытка сближения окончилась так неудачно.

Вопрос о флоте также играл роль, но не решающую. Естественно, что и теперь вновь вспыхнул в обеих странах спор между притязанием Англии на морскую гегемонию и убеждением Германии в жизненной необходимости для нее иметь сильный боевой флот. Но ведь решающее влияние на ориентацию общей политики Англии германская морская политика получила уже много лет тому назад. «Сердечное соглашение» с Францией было заключено еще в 1904 г., с Россией — в 1908 г. (в Ревеле), и уже со времени военных переговоров между французским и английским генеральными штабами—в 1906 г. Франция была уверена в военном содействии Англии. По крайней мере, теперь несомненно, что так упрочившаяся дружба Англии с двойственным союзом не могла подвергнуться опасности из-за обещания нейтралитета по отношению к нам; уступки в новелле о флоте 1912 г. должны были совершенно успокоить сэра

[1]) Harold Begbie, The vindication of Great Britain. London. 1916.

Эдуарда Грея на этот счет. Как уже упомянуто, сэр Эдуард Грей, начиная с 1909 г., при каждом удобном случае так настойчиво и почти навязчиво обращал мое внимание на преимущества дружбы Англии с двойственным союзом, что и, не зная точных условий соглашения между державами Антанты, я не мог сомневаться в его решении продолжать политику дружественных отношений с франко-русским союзом, соответствовавшую притом общим политическим традициям Англии. Но без ощутительных изменений во всеобщем политическом положении, имея в руках только согласие английского кабинета отказаться от агрессивной политики в том случае, если она не будет ничем провоцирована, я, с своей стороны, не мог проводить и успешно отстаивать отказ от нового законопроекта по усилению флота. Слишком естественно было общее возмущение поведением Англии во время второго марокканского кризиса, слишком популярно распространявшееся крупными авторитетами мнение, которое я тогда уже считал ошибочным, о необходимости усиления боевого флота для защиты нашей страны.

Быть может, ошибка заключалась в том, что мы недооценили связующую силу соглашений Англии с двойственным союзом, как она явствовала из всего поведения сэра Эдуарда Грея, и что вследствие этого мы начали вести наши переговоры на слишком широком базисе. Возможно было только устранение трений в вопросах практического характера при условии отказа от изменения существующей группировки держав в ближайшем будущем. Хотя это не могло существенно облегчить нашего положения, но с течением времени могло все же постепенно повести к тому разряжению общей атмосферы, которого я вынужден был добиваться, быть может, с слишком большою поспешностью вследствие угрожавших нам со всех сторон опасностей.

Когда и для нас стало почти очевидным крушение переговоров о политическом соглашении, сэр Эдуард Грей выска-

зал графу Меттерниху надежду, что если официальное соглашение и не состоится, визит Хольдена, сопровождаемый свободным и открытым обменом мнений, все же явится основанием для будущих более откровенных и доверчивых отношений. Эта надежда получила не только формальное осуществление, но оправдалась и на практике. В течение Балканских войн 1912 и 1913 г.г. и на лондонской конференции послов возможность совместной работы значительно облегчилась и была более продуктивна в деловом отношении. Еще заметнее стало улучшение отношений, когда мы, отказавшись от обсуждения общих политических вопросов, приступили к устранению конкретных разногласий. Тогдашний руководитель ведомства иностранных дел, г. фон-Ягов был представителем этой точки зрения, проявляя одинаково и политическую прозорливость и тонкое понимание того упрямого постоянства, с которым английская политика цеплялась за существующую группировку держав. Немецкие и английские интересы соприкасались теснее всего в Азиатской Турции, где наш план постройки Багдадской железной дороги столкнулся с недоброжелательством и опасением Англии. Соглашение по возникавшим здесь вопросам могло иметь тем более широкое значение, что одновременно оно представляло возможность притти к мирному согласованию взаимных интересов в этих странах также с Францией и Россией. План Ягова тем самым обнимал весь комплекс вопросов, которые приводили нас в передней Азии в соприкосновение не только с Англией, но и со всей Антантой. Англия, упрямая по обыкновению, обнаружила, однако, в этих переговорах добрую волю и вполне пошла нам навстречу. Приблизительно в это же время мы снова подняли затронутые еще лордом Хольденом вопросы, связанные с африканскими колониями. Общее согласие Англии на выраженные нами пожелания об укреплении и увеличении наших колониальных владений в Африке опровергает самым убеди-

тельным образом позднейшую попытку наших противников, поддержанную особенно усердно как раз той же Англией, об'явить Германию морально недостойной каких бы то ни было колониальных владений. Соглашение по средне-азиатским вопросам приближалось к концу, и колониальный договор был уже заключен, когда вспыхнула война.

Путь мелких соглашений оказался, таким образом, вполне возможным.

Верная принципам миссии Хольдена, английская политика одновременно с тем усердно старалась окончательно забронировать свою дружбу с двойственным союзом против всякой бури и непогоды. В сентябре 1912 г. была заключена англо-французская морская конвенция, которая передавала в руки Франции защиту Средиземного моря, в то время как Англия приняла на себя оборону французского северного побережья; а в ноябре того же года Грей и Камбон, как это стало окончательно известно в момент возникновения войны, обменялись письмами, которые устанавливают, наконец, в документальной и совершенно определенной форме линию английской политики.

Сэр Эдуард Грей в своей речи 3 августа 1914 г. усердно старался доказать, что эта переписка с Камбоном не обязывала Англию принимать участие в мировой войне. Это совершенно верно, но сильное моральное воздействие она все же оказала. Франция почти уже 10 лет состояла в теснейшей дружбе с Англией и во время обоих марокканских кризисов получила самые определенные доказательства этой дружбы. По поручению своих правительств генеральные штабы обеих стран в происходивших с 1906 г. периодических совещаниях вырабатывали планы совместных совещаний обеих армий на случай общей войны против Германии. И если теперь Франция почти в непосредственной связи с военной опасностью, вызванной угрожающими словами Ллойд-Джорджа, могла добиться того, что постоянная совместная ра-

бота обоих генеральных штабов была санкционирована в письменной форме на широком политическом базисе, то она могла сделать отсюда лишь один вывод, что в случае войны с Германией она может рассчитывать на помощь Англии, даже если бы по договору последняя и оставляла за собою свободу действий относительно участия в войне. Как и при устном соглашении 1906 г., обстоятельства, сопровождавшие обмен письмами между Греем и Камбоном, придавали их содержанию такую силу, которой подчас лишены даже союзные договоры, выражающие взаимные обязательства в более точной форме. Было бы несправедливостью по отношению к сэру Эдуарду Грею сомневаться в искренности уверений, высказанных им в речи от 3 августа, в том, что во время балканских войн он твердо стоял за мир и в июле 1914 г. искал мирного решения вопросов. Но это, быть может, бессознательный самообман с его стороны, когда он относит эту похвалу ко всей своей деятельности. Его дружественная двойственному союзу политика, так сильно подкрепленная военными соглашениями, заключенными даже на самые серьезные случаи, представляла необыкновенно сильную опору для основных тенденций двойственного союза, а что намерения франко-русской политики были далеко недружелюбными по отношению к Германии, знал каждый ребенок в Европе. Даже наиболее слепые ненавистники Германии не могут отрицать, что еще жившее во Франции желание возврата Эльзас-Лотарингии и русские притязания на Балканы и Константинополь могли быть осуществлены только путем войны.

Таким образом фактически теория Грея, принявшая, благодаря деятельности его сотрудников, еще более грубую форму, шла не на пользу мира, но усиливала военную опасность. Каковы бы ни были конечные цели, преследуемые при этом Англией,—преобладало ли намерение, опираясь на сильную военную коалицию, побудить Германию дипломатическим путем подчиниться всем притязаниям, или считалась

совершенно неизбежной война с Германией, — фактический результат разжигания агрессивных тенденций, воплощенных в двойственном союзе, не подлежит сомнению.

Еще более запуталась английская политика весною 1914 г. О том, что происходило, мы были уже тогда осведомлены благодаря опубликованным русским документам [1]). Они обнаружили, что Россия использовала визит английской королевской четы в Париж в апреле 1914 г., носивший, благодаря присутствию сэра Эдуарда Грея, высоко политический характер; она желала при посредстве французского правительства возбудить вопрос о заключении англо-русской морской конвенции для того, чтобы, как выразился граф Бенкендорф в беседе с г. Сазоновым, «до сих пор слишком теоретические и мирные идейные основы Антанты заменить чем-либо более ощутительным». Грей сочувственно отнесся к русскому предложению, горячо поддержанному французским правительством, запросил и получил согласие английского кабинета; и в то время как военные и морские власти вступили в переговоры, правительства держались в стороне, чтобы в случае надобности можно было оспаривать наличие соглашения *политического* характера.

Узнав об этом, мы поместили в одной из немецких газет предостерегающий призыв, а князю Лихновскому было поручено дать понять сэру Эдуарду Грею, что у нас есть основания для некоторых подозрений по поводу возбуждающих беспокойство событий.

Грей, недовольный тем, что обнаружилась истина так тщательно скрываемого секрета 11 июня, на запрос в английском парламенте дал весьма сбивчивое и запутанное об'яснение, в котором отрицал существование малейшего отраничения свободы решений английского правительства и парламента, но которое, в действительности, как телеграфировал граф Бенкендорф в тот же самый день г. Сазонову, должно было,

[1]) «Deutsche Allgemeine Zeitung» от 18 до 29 декабря 1918 г.

по собственному желанию Грея, замаскировать состоявшее уже соглашение с Францией и начатые переговоры с Россией.

По имеющимся у нас сведениям, морская конвенция не состоялась. Но готовность английского кабинета заключить ее была для России многообещающим показателем английских намерений и настроений. Ведь России только что была предоставлена возможность на глазах Англии проводить в Балканских войнах бурную политику, непосредственно вызывающую обще-европейские осложнения. Ведь всего за несколько недель до этого г. Сазонов использовал инцидент Лиман-Сандерса для создания явно-воинственных проектов. Если даже сэр Эдуард Грей не одобрял проявленного Сазоновым самодовольства, то все же приходится признать за настоящее поощрение воинственных тенденций России, если после подобных событий, понукаемый Францией, он с радостью согласился на предложенную морскую конвенцию с Россией, при помощи которой Россия хотела себя обеспечить необходимым количеством английских судов для высадки своего десанта в Померании. Это было то же блюдо, что и обмен нотами с Камбоном, только в еще более горячем виде. Полное удовлетворение России и Франции, которые вполне понимали, что Грей, учитывая общественное мнение Англии, не может заключить настоящего договора, видно из слов, в которых граф Бенкендорф описывает Сазонову успех английского визита в Париж: «Я сомневаюсь, можно ли найти более сильную гарантию совместных военных операций в случае войны, чем общий дух этого соглашения, как он теперь выявился, подкрепленный существующими военными мероприятиями».

Глубокая и тщательно охраняемая тайна, которой сэр Эдуард Грей окутывал все военные соглашения с Францией и Россией (по его словам, о состоявшемся обмене письмами с Камбоном он информировал даже свой собственный кабинет лишь много времени спустя), его намерение замаскировать

эти соглашения — дают основания предполагать, что английское общественное мнение, вообще не расположенное к долгосрочным политическим обязательствам, инстинктивно чуяло опасность всяких военных соглашений, но и тогда не желало войны.

Чем труднее уловить действительное настроение какой-либо, особенно чужой страны, тем более следует воздерживаться от всяких преувеличений. Везде встречаются шумливые шовинисты и умиротворяющие пацифисты... Но между ними находится громадный средний слой тех, которые работают и молчат, которые желают мира, а на войну идут лишь тогда, когда этого потребуют безопасность и честь страны. Заключать из поражающих и иногда цинично откровенных публичных выступлений английской военной партии, что английский народ в общей своей массе был настроен воинственно, — было бы столь же нелепо, как нелепы вопли Антанты о кровожадных германских гуннах и варварах, свидетельствующие о ее моральном помешательстве. Но хотя широкая масса и молчала, когда шовинисты трубили по всему миру о ненависти и разрушении, а пацифисты проповедывали мирное соглашение, — все усиливающаяся Германия представлялась Англии незваным и обременительным пришельцем, вторгшимся в святыню нераздельного британского владычества над мировой торговлей и морями. Это настроение сказывалось то сильнее, то слабее, но в общем давало тон повсюду, вопреки многообразным и небезвыгодным сделкам, которые совершались с кузеном по ту сторону Северного моря.

Это общественное мнение самого английского народа и давало основание для политики все возраставшей дружбы с Францией и Россией, общности, ставшей столь тесной, что английские государственные деятели не могли в конце концов устоять перед роковыми домогательствами своих друзей.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

ТРИПОЛИ.—БАЛКАНСКИЕ ВОЙНЫ.— РОССИЯ.

В то время, когда наши переговоры с Францией были еще в полном разгаре, руки Италии потянулись к Триполи. Казалось, обнаружился определенный распад тройственного союза. С явным злорадством заметили в лагере Антанты, что Италия вступала на путь, идя по которому, как надеялись, она могла далеко разойтись с своими союзниками. Договор о тройственном союзе, по точному своему смыслу, не препятствовал, собственно говоря, этому итальянскому предприятию. Италия не была обязана заручиться нашим согласием на свои выступления в Африке и не сделала этого. Но мы должны были принять меры, чтобы при преследовании своих африканских целей Италия не столкнулась с общими и оговоренными договорами интересами тройственного союза. Во время войны ее с Турцией неоднократно наступали моменты, когда становилось трудно сохранить согласие между ней и Австро-Венгрией. Когда война в Киренаике приняла затяжной характер, и Италия, чтобы добиться развязки, собиралась выступить против Турции также на ее европейской территории, вопрос о status quo на Балканах, по которому существовали специальные соглашения между Италией и Австро-Венгрией, сделался особенно острым. Все снова и снова приходилось нам брать на себя роль посредника, чтобы не дать этим разно-

гласиям между нашими союзниками разрастись в серьезную опасность.

Помимо своего желания французы способствовали нам в этом деле. Не могу сказать, поощряла ли Антанта Италию к выступлению против Триполи. Со времени определившегося мирного исхода марокканского конфликта, муссирование триполитанского инцидента уже не представляло для Франции особенного интереса. Во всяком случае, уже в продолжении ряда лет обе великие западные державы признавали правомерными притязания Италии на Триполи, на этот последний, находящейся еще в руках Турции, остаток ее былых владений в Африке, и осуществление этих притязаний составляло, без сомнения, часть общей программы раздела африканского побережья. Но здесь и должно было обнаружиться, что французы — плохие товарищи. Обеспечив себе свою добычу, они теперь старались урезать итальянскую долю. Как на море, так и в Тунисе они причиняли неприятности итальянцам и препятствовали открыто и тайно прочному занятию ими Триполи. Особенно важным представлялось им помешать итальянцам легко и быстро достигнуть успеха. Опасались появления у Италии притязаний на Тунис, и каждый раз, когда «латинская сестра» заговаривала о нем, у французов появлялись недобрые чувства.

В результате получилось, что Италия вновь поняла, какую пользу мог ей принести тройственный союз. Когда статс-секретарь фон-Кидерлен в январе 1912 г. прибыл в Рим, он был встречен с искренней сердечностью. Король и министры наперебой выражали ему уверенность в крепости союза и дружбы, а в итальянских военных кругах охотно распространялись на тему о новом большом военном значении Италии для ее союзников, так как теперь, если потребуется, можно со стороны Триполи и Киренаики угрожать Тунису и даже Египту. Состоявшееся в марте свидание германского императора с королем Виктором-Эммануилом прошло вполне

удовлетворительно. Оба монарха в беседах на политические темы ближе чем когда-либо сходились между собою. Король не скрывал своего глубокого возмущения по поводу французского вмешательства. Когда позднее в ноябре Сан-Джульяно прибыл в Берлин, то было окончательно урегулировано все существенно необходимое для возобновления тройственного союза. И если это возобновление союза удалось провести вскоре по окончании Триполитанской войны, за два года до истечения официального срока, хотя и не без некоторого сопротивления, особенно в Северной Италии, то много тому способствовал урок, полученный Италией в ее африканских похождениях. Намечалась возможность нового периода процветания тройственного союза. Впрочем, первоначальную его силу уже нельзя было восстановить. Слишком много уже было обязательств, которыми связал себя Рим. Не только к западным державам, но и к России протянулись всевозможные нити. Правда, у нас не было определенных сведений, насколько далеко зашло любезничанье с русскими в Раккониджи. Лишь недавно опубликованные большевиками документы дали нам возможность узнать, что тогда, в октябре 1909 г., Италия обеспечила себе согласие России на свои триполитанские вожделения обещаниями в вопросе о морских проливах. Однако и без таких определенных данных надежность Италии вызывала к себе весьма скептическое отношение.

В смысле наших взаимоотношений с Турцией нападение Италии на Триполи представляло тяжелое осложнение. Пресса Антанты тотчас приложила деятельные усилия к тому, чтобы показать туркам всю ненадежность такой дружбы, которая не в состоянии охранить даже от поползновений собственного союзника. Однако доверие, которым пользовались в Константинополе статс-секретарь фон-Кидерлен и наш посланник барон фон-Маршаль, было достаточно велико, чтобы отпарировать этот удар. А сверх того на Турцию

надвинулись такие серьезные опасности, которые оставили совсем в тени борьбу за ее африканскую окраину. Для Высокой Порты не представлялось иного выбора, как возможно поспешнее рассчитаться с итальянцами, чтобы быть в состоянии оборонить себя от более близких и более страшных врагов.

В феврале 1912 г. начались приготовления Балканских государств к совместному нападению на Турцию. Кое-какие указания на это стали уже весьма рано поступать к нам, а летом мы получили уже и определенные сведения о заключении Балканского союза. Предполагать, что за всем этим стояла Россия, мы тоже имели достаточные основания. В день об'явления Черногорией войны Турции г. Сазонов был проездом в Берлине, и г. фон-Кидерлен сказал ему, что покровительство беспокойным балканским народам представляется ему делом далеко не безопасным. Русский министр не сумел на это ответить ничего другого, кроме того, что Россия совершенно определенно запретила Балканским государствам какие-либо агрессивные мероприятия. Безразлично, считался или не считался с этим запрещением черногорский князь, ответ Сазонова уже заключал в себе ясное признание в том, что вся эта игра разыгрывалась не без участия России. Во время свидания монархов в Балтийском порте в июле 1912 г. Сазонов делал вид, что совершенно откровенно ведет обсуждение общего политического положения. Однако он ни слова не сказал мне об известных ему, без сомнения, планах Балканских государств, и Россия до самого конца решительнейшим образом отрицала перед нами существование Балканского союза под ее руководством. А в какой тесной связи была она с этими заговорщиками — в этом очаге европейских распрей — показывают недавно опубликованные большевиками документы.

Среди них имеется сербско-болгарский союзный договор от марта 1912 г. Тайное приложение к этому договору уста-

навливает роль, отводимую России, в случае если дело дойдет до войны с Турцией. В случае, если состоится соглашение о вооруженном выступлении, о том имеет быть поставлена в известность Россия, и если последняя не найдет к тому никаких препятствий, союзники приступают к намеченным боевым операциям. И затем далее: «Если соглашение не будет достигнуто, вопрос передается на рассмотрение России; решение России обязательно для обеих договаривающихся сторон». Заботливо и предусмотрительно направляла все дело русская рука. Во всех спорных вопросах царю предоставлялась компетенция третейского судьи. Даже при установлении границ между балканскими государствами после войны окончательное решение передается также ему: «Само собою разумеется, что обе договаривающиеся стороны обязуются признать в качестве окончательной границы ту линию, которую соблаговолит установить его величество царь».

Подобным же образом и прочие, заключенные позднее — летом 1912 г. — договоры балканских государств становились под прямую опеку России. В них также уговаривались с Петербургом относительно дележа добычи. То был огромный шаг, который сделала Россия на пути к установлению своего владычества на Балканах и к ликвидации европейской Турции, вполне сознавая, что из балканской войны может возникнуть и война европейская. Так, в ноябре Сазонов писал графу Бенкендорфу в Лондон, что положение представляется ему очень серьезным и что война, может быть, является наилучшим исходом.

Инциденты на наших собственных границах, если и не имели очень крупного значения, все же достаточно характеризовали настроение, господствовавшее в России. В нарушение установившихся обычаев, предварительно нас не уведомив, Россия произвела летом 1912 г. ряд широких пробных мобилизаций в Польше, чем вызвала значительную тревогу и побудила нас выступить с серьезными предостережениями.

А одновременно с тем, в сентябре того же года, супруга великого князя Николая Николаевича, присутствовавшего в качестве представителя царя на французских маневрах, сделала в Нанси весьма многозначительный вызывающий жест в сторону «утраченных провинций». Французская печать не упустила случая с шумом отпраздновать политическое значение этого происшествия.

Само собою разумеется, союзную Францию всегда держали в курсе балканских событий и участия в них России. Но доверчивыми информациями не обходили также и дружественную Англию. Непосредственно по заключении упомянутого выше сербско-болгарского договора г. Сазонов уведомил в общих чертах английское правительство о содержании его, а тотчас после начала самой войны дополнительно посылал также и подробности вместе с планом дележа добычи и с просьбой поддержать желания балканских народов и России. Как встретила Англия эту просьбу, мы не знаем. Но если сэр Эдуард Грей впоследствии и старался вместе с нами не допустить, чтобы балканские войны повели к нарушению общего европейского мира, он все же был посвящен в инспирируемые Россией планы, которые ставили весь Балканский полуостров вверх дном и простая искра от которых способна была, помимо его воли, в любой момент поджечь обратившуюся в настоящий пороховой погреб Европу [1]).

---

[1]) О господствовавшем уже тогда враждебном к Германии настроении Англии дает представление ставшее теперь известным сообщение Сазонова царю в сентябре 1912 г. В Бальморале Сазонов собрал сведения о том, что́ Россия могла бы ожидать от Англии в случае вооруженного столкновения с Германией. Об этом он докладывает царю: «Грей заявил, не колеблясь, что при наступлении известных обстоятельств Англия сделает все возможное, чтобы нанести германскому могуществу наиболее чувствительный удар». Король выразился в еще более решительной форме, чем его министр. В случае войны, англичане «будут пускать ко дну всякое немецкое торговое судно, которое попадет к ним в руки».

В продолжение всего балканского кризиса Франция весьма решительно и твердо поддерживала своего русского союзника. В ноябре 1912 г. Пуанкарэ дал совершенно определенные заверения Извольскому в том, что, если Россия станет воевать, Франция сделает то же самое, так как она знает, что в этом вопросе за спиною Австрии стоит Германия. То же самое было сказано и итальянскому послу. Как сама Россия определяла отношение Франции, видно из сообщения графа Бенкендорфа г. Сазонову от 25 февраля 1913 г. Русский посол, изображая общее положение и только что пережитый кризис, говорит: «Франция безоговорочно соглашалась на вооруженную поддержку, и это единственная держава, которая не пожалела бы, если бы началась война».

Детальное изображение изменчивых стадий обеих балканских войн не входит в задачи настоящего труда. Ввиду быстрого развала Турции и последовавших за этим распрей победителей, руководительство балканским союзом ускользнуло из рук его опекунов. Честолюбивые народы Балканского полуострова все-таки не были настолько безвольными орудиями в руках могущественных распорядителей, чтобы по команде их ограничивать свои национальные стремления и укрощать свою взаимную ненависть. Даже властное слово царя оказалось недостаточно сильным для обуздания Сербии и Болгарии. Патронат над балканским союзом стал в такой момент неблагодарной задачей, и под влиянием замешательства и невозможности направить события при их быстром течении в желанное русло решили создать нечто вроде концерта европейских держав. Впечатление общей беспомощности являлось преобладающим в продолжение долгого периода. Ящик Пандоры открыли, но никто не знал, как вновь его закрыть. Первоначальная попытка сохранения status quo, основанная на недооценке стремящихся к политической самостоятельности балканских национальностей, была скоро оставлена. Предложение выступить с декларацией

своей полной незаинтересованности, направленное главным образом против Австрии, было устранено без существенных затруднений. В решении албанского вопроса перевес получила точка зрения Австрии и Италии, которые, отодвинув на задний план собственные разногласия, сообща выступили против поддерживаемых Россией тенденций балканских союзников к разделу Албании; хотя провозглашенную независимость Албании, предусмотренную на случай крайней необходимости в одном старом соглашении между обеими адриатическими державами, приходилось считать лишь фиктивным решением проблемы. Временами при этом дипломатические средства казались исчерпанными, но в конце концов все же победило желание не допустить в данный момент вспышки общеевропейской войны.

Император во время балканских войн занял крайне осторожную позицию и был весьма озабочен сохранением мира. Мне ясно припоминается продолжительный разговор с ним в ноябре этого года, когда он определенно заявил, что из-за Албании и Дураццо не стоит предпринимать похода на Париж и Москву. Отвечать за это перед немецким народом он не находил возможным. Во избежание военных обострений нам приходилось производить временами энергичное давление на Вену. Не малые затруднения при этом представляло вызывающее поведение России, уже весною 1912 г. начавшей свои военные приготовления. Но мы не давали ни малейшего повода к сомнениям, что решительно и твердо станем за наших союзников, «в случае если, отстаивая свои интересы, они против ожидания подвергнутся нападению третьей стороны, и таким образом под угрозой окажется само их существование». Когда в декабре того же 1912 г. я формулировал таким образом в рейхстаге нашу точку зрения, это вызвало сильное неудовольствие в Петербурге, но зато имело определенные последствия. Почувствовали свою военную неподготовленность и притихли. Ведь на Балканах вы-

скочили слишком рано: следовательно, надо было затормозить.

Так и не удалось получить от этого преждевременного выступления желательного для его подстрекателей результата. Согласно плану участников балканского союза, первой задачей его являлся раздел между ними европейской Турции, а второй — обеспечение себе при этом тыла со стороны Австрии; в смысле же планов России и, можно сказать, всей Антанты задачей его было создать единый замкнутый балканский фронт против центральных держав. Последняя цель не была достигнута в той мере, как того желали. Однако соотношение сил значительно изменилось не в пользу центральных держав. Турция была чрезвычайно ослаблена: в сущности у нее кроме Константинополя осталась в Европе лишь жалкая полоска земли. До поры до времени Антанта еще не была заинтересована в том, чтобы отнять у нее и этот последний кусок европейской территории. Должность «привратника проливов» можно было пока еще за ней сохранить. Несмотря на ужасающие потери, ей все же удалось в конце второй войны достигнуть скромного успеха, несколько улучшившего ее самочувствие, и удержать его за собою. Надежды Болгарии были разбиты; ее доверие к России жестоко поколеблено. Армия, свернув свои знамена, стала ожидать лучших времен в глубоком гневе на своих ликующих сербских соперников и на Румынию, завершившую ее поражение. Сербия, напротив, сделала громадный шаг вперед. Дальнейшие свои планы она могла уже осуществлять только в случае войны с Австро-Венгрией. С возросшей верой в себя, приступила она теперь к подготовке своих дальнейших задач. Румыния захватила себе со стороны Болгарии все или даже больше, чем ей было нужно и что она могла использовать. Враждебность ее позиции по отношению к Австрии уже обнаружилась вполне ясно. Предупредить окончательный переход ее на сторону Антанты — вот все, чего немецкая дипломатия еще могла

попытаться достигнуть. Только король Карл, притом уже весьма дряхлый, единственно своей личностью обеспечивал возможность продолжения прежних отношений. Расширение территории, выпавшее на долю Греции, было благоприятно династии, правившей в Афинах, и тем усиливало дружественное расположение к Германии в этой стране, постоянно подвергавшейся давлению со стороны Антанты и мало способной к сопротивлению.

Таково было положение дел после второй балканской войны. Не было никакого сомнения, что второй Бухарестский мир означал лишь краткую передышку. Поскольку дело шло тогда о предупреждении мирового пожара, Лондонская конференция послов, являвшаяся органом великих держав для его локализации, на этот раз еще в состоянии оказалась справиться со своей задачей. Отдельные перескакивающие искры все еще можно было потасить, но в конце концов вся Европа стала тревожно чувствовать, что борьба на Балканах лишь предшественница и предвестница еще более роковых событий.

Во все время балканского кризиса мы определенно стремились быть посредником между жизненными интересами Австрии и притязаниями России, что вполне соответствовало общему взгляду, сложившемуся у меня с самого начала на наши отношения к австрийскому союзнику — с одной стороны, и русскому соседу — с другой. Я был глубоко убежден, что, несмотря на трещины в здании австрийской монархии и на явные и тайные симпатии славянских ее частей к русскому панславизму, следовало во что бы то ни стало сохранять основанный Бисмарком союз между Германией и Австрией. Не говоря уже о моментах взаимного тяготения, которые в настоящее время готовы воплотиться в форму слияния немецкой Австрии с Германией, было бы вообще безумием помышлять о разрыве этого союза после того, как Антанта успела принять характер столь крепкой сплоченности, что о каком-нибудь внезапном повороте нечего было и

думать. Самое большее, мог быть поставлен вопрос Англии— возможно ли перестроить группировку европейских держав на совершенно новом основании? Как и почему попытка в этом направлении не удалась — было уже показано выше. Что касается России, то она была связана с Францией, не отрывавшей своих взоров от Вогезов, союзом, пускавшим все более глубокие корни в настроении народов обеих стран. Союз этот скреплялся почти ежегодно все новыми финансовыми связями и в течение уже двух десятилетий устанавливал определенный курс для русской политики как в ее дипломатических выступлениях, так и в военных мероприятиях. Одному немецкому финансисту, которого желательно было теснее привлечь к русским государственным делам, Сазонов весною 1914 г. бросил замечание, что если мы предоставим Австрию ее судьбе, то он, с своей стороны, также покинет Францию. Если бы даже немецкая политика могла усмотреть в этом замечании, в устах г. Сазонова особенно странном, не простой трюк в духе дипломата старой школы, но действительно серьезное намерение, она принуждена была бы сделать лишь один вывод, что русский государственный деятель глубоко ошибался как относительно солидности французских цепей, так и в отношении размеров своего собственного всемогущества.

В силу необходимости наша роль по отношению к России свелась к старанию, соблюдая полную союзническую верность, сдерживать пыл Австро-Венгрии, что мы неоднократно с успехом и делали в эпоху кризиса на Балканах, а также — к попытке поставить себя так в Петербурге, чтобы наше посредничество, в случае его необходимости, не встретило там сопротивления.

В этом направлении и было составлено известное Потсдамское соглашение от 4 ноября 1910 г. Подобно нашим позднейшим переговорам с Англией, мы имели в виду и здесь, в связи с установлением обоюдного политического понимания,

в целях создания добрососедских отношений, притти также к примирению практических интересов в отдельных конкретных случаях. Но Франция и Англия сделали все возможное, чтобы парализовать осуществление уже вполне подготовленного договора. Полные изумления комментарии французской и английской прессы по поводу Потсдамского свидания обнаружили слишком явное неудовольствие официальных сфер обеих стран по отношению ко всякому шагу, который мог бы изменить их взаимоотношения с союзником и другом, вследствие улучшения его отношения к Германии. Россия вновь приняла холодно-равнодушный тон. От письменного закрепления Потсдамского соглашения по политическим вопросам уклонились под предлогом, что совершенно достаточно простого слова царя. Это — то же самое явление, которое затем повторилось, когда Англия задержала и затруднила своим вмешательством наши об'яснения с Францией по поводу Марокко.

При всем том личные отношения между обоими правительствами стали лучше, что, впрочем, не имело решающего значения в вопросах высшей политики. Царь постоянно выказывал мне знаки своего личного доверия, неоднократно уверял меня, что всегда и везде готов использовать свой авторитет в пользу мира, а с г. Сазоновым до зимы 1913—1914 г. меня персонально связывали дружеские отношения. Впрочем, царь был слабоволен и непостоянен, а г. Сазонов обладал характером раздражительным и весьма склонным к подозрительности. Полного доверия заслуживали, по моему мнению, личные свойства председателя совета министров графа Коковцева, и еще в настоящее время я уверен в том, что русская политика в 1914 г. пошла бы по другому направлению, если бы он пользовался большим влиянием и оставался бы в течение более продолжительного времени у кормила правления.

Насколько склонен был г. Сазонов к малообоснованной возбудимости, обнаружилось осенью 1913 г. Еще в июле император сговорился в моем присутствии с царем и королем Англии относительно плана устройства, согласно желанию самой Турции, немецкой военной миссии в Константинополе, и ни тот, ни другой монарх ничего не имели против этого. Напротив, в этом видели лишь возобновление прежней военной миссии Гольц-Паши, что и считали вполне естественным. Однако Сазонову, с которым я беседовал в Берлине на его обратном пути из Парижа, то обстоятельство, что я не обсудил с ним это предположение, дало повод к подозрению, будто я хотел его обойти. Об этом, конечно, не могло быть и речи. Я имел основание считать, что г. Сазонов уже осведомлен о происшедшем, и у меня не было повода делать предметом политической беседы вопрос, приближавшийся уже к своему завершению. Г. Сазонов, однако, стал бить тревогу в печати и пытался этот вопрос передвинуть в область высшей политики. Мне удалось, путем личных переговоров с графом Коковцевым, который вскоре после того проездом был в Берлине, и путем исполнения его желания, чтобы глава миссии попрежнему не был облечен функциями активного командования, наладить дело так, что царь определенно выразил графу Пурталесу свое удовлетворение по поводу устранения инцидента. Подозрительность Сазонова в данном случае плохо согласовалась с его собственной молчаливостью в Балтийском порте относительно балканских событий, развертывавшихся по его инициативе.

Хотя Сазонов и был осведомлен графом Коковцевым, что я согласился на устранение основных поводов к неудовольствию России, все же он остался при своем прежнем мнении и старался убедить царя, будто политика Германии в вопросе о военной миссии не искренна и направлена к подрыву единодушия тройственного согласия. Что Россия не может принципиально возражать против германской военной миссии —

это было ему ясно. Но он пустил в ход все средства, чтобы не допустить передачи немцам военного командования в Константинополе. Повидимому, в начале 1914 г. Сазонов представил на усмотрение царя доклад с предложением заручиться поддержкой Франции и Англии и готовиться к возможности серьезного военного выступления. Насколько известно, шла уже речь о занятии турецких портов. Обсуждалась, без сомнения, также возможность возникновения европейской войны. Какое решение принял царь — осталось неизвестно, и возможно, что проект Сазонова потерял значение вследствие последовавшего как раз в эти дни улажения дела Лимана-Сандерса. Однако, до какой степени не это притворное опасение немецкого коварства, а стремление к собственному расширению являлось действительным руководящим мотивом русской политики, должен был показать дальнейший ход событий, поскольку он нам теперь известен. Недовольное устранением разногласий в вопросе о военной миссии, получившим определенное одобрение со стороны царя, русское правительство продолжало и дальше свои приготовления к оккупации проливов, безусловно сознавая, что подобная операция возможна лишь в рамках всеобщего конфликта.

Согласно опубликованному большевиками протоколу совещания, состоявшегося 21 февраля 1914 г., Сазонов откровенно заявил на нем, что нет оснований предполагать, будто выступление с целью захвата проливов выполнимо без европейской войны. И начальник генерального штаба тоже подтвердил, что только в условиях европейской войны возможна борьба за приобретение Константинополя. Тем не менее «план овладения в недалеком будущем проливами», согласно тексту протокола, подвергся обсуждению во всех подробностях. Царь утвердил все решения о принятии широких подготовительных мер. Но в журнале совещания от 21 февраля 1914 г., который Сазонов 5 марта представил вместе с своей докладной запиской царю и в котором еще более детально

рассматривались необходимые для оккупации проливов мероприятия и приготовления, идет речь уже об «ожидаемом кризисе», который «вероятно, в очень недалеком будущем» даст повод к решению вопроса о проливах. Распространение своего владычества на проливы является-де исторической задачей России. Вероятнее всего, что России предстоит разрешение этого вопроса во время европейской войны. В таком случае английский и французский флоты должны будут во время войны препятствовать флоту держав тройственного союза развернуть свои действия. Однако на более широкую поддержку их в операциях против проливов рассчитывать нельзя. Успех этих операций стоит, естественно, в тесной связи с международной кон'юнктурой. «*Подготовить для этого благоприятную почву составляет в настоящее время задачу вполне определившего свои цели в данном вопросе министерства иностранных дел*».

Всякие комментарии к этому излишни.

Относительно этих политических приготовлений первоначально никакие сведения не проникали в широкие общественные круги. Обратило на себя, правда, внимание (что об'ясняется лишь нечистой совестью) возбуждение в Петербурге, вызванное появившейся в «Кельнише Цейтунг» в начале марта 1914 г. статьей, бившей тревогу по поводу русских военных приготовлений и намерений воинственного характера; узнали о новом большом займе, заключенном во Франции с обязательством постройки на германской границе железной дороги стратегического значения; замечено было явно исходящее от правительства враждебное отношение к германской торговле. В марте и июне появились вызвавшие большое волнение статьи в «Биржевых Ведомостях» военного министра Сухомлинова относительно военной подготовленности России и Франции. Приблизительно одновременно с этим петербургская дипломатия усердно работала в Париже, чтобы еще крепче связать Англию с франко-русским

союзом — теперь уже путем военных соглашений. Насколько осведомлены были Франция и Англия о русских планах относительно проливов, мы в настоящее время еще не знаем. Однако, наверное, не было случайностью, что бо́льшая часть французской печати весною 1914 г. настроилась на весьма определенный воинственный тон. И вполне сознательно хотел петербургский кабинет открыть шлюзы военному потопу, чтобы по морю крови направить русский корабль к Золотому Рогу.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

НАЧАЛО ВОЙНЫ.

Будущность Австро-Венгрии уже задолго до войны интересовала политическую литературу наших противников. Вопрос о том, нужно ли способствовать развалу державы Габсбургов или следует стремиться к ее сохранению, обсуждался совершенно открыто. Уверенность, что день кончины императора Франца-Иосифа будет роковым для всей монархии, была распространена не только среди наших врагов. В Германии тоже много было толков о предстоящих в таком случае событиях, и печать — в особенности из пангерманского лагеря, — ничуть не заботясь о впечатлениях за границей, заранее пред'явила широкие претензии на наследство. Во Франции до заключения entente cordiale (сердечного согласия) раздавались голоса о желательности отделения Австро-Венгрии от тройственного союза и присоединения ее к союзу франко-русскому. В этих целях в Вене не без успеха использовали против германского союзника эти неосторожные пангерманские выходки, спекулируя одновременно на чувствах некоторых кругов, которые не могли забыть Кенигсгреца. Если бы посчастливилось развалить тройственный союз, то на пути пресловутого германского стремления на восток воздвигнуты были бы непреодолимые преграды. Однако позднее, когда австрийское и балканское славянство стало все больше и больше вызывать к себе интерес западной публи-

цистики, перевес вновь получили автономистские идеи. С заключением тройственного согласия воззрения вполне установились. Общим паролем стало: поддержка во что бы то ни стало славянских составных частей Дунайской монархии. Чехи ведь почти открыто стремились к отделению от австрийского государственного об'единения, и брожение среди южных славян шло не прекращаясь [1]). Всякое же поощрение этих центробежных тенденций не только разлагало конгломерат австро-венгерского союза, но подкапывалось под общую позицию центральных держав. Естественным и необходимым дополнением являлось одновременное поощрение заинтересованных в распадении Дунайской монархии славянских государств Балканского полуострова. Мало дальновидная хозяйственная политика Австро-Венгрии по отношению к Сербии представляла для проявлявшего неустанную деятельность русского посла в Белграде г. Гартвига благоприятную почву, чтобы с возрастающим успехом раздувать антагонизм к габсбургскому соседу, а Черногория, как ни мала она сама по себе, обратилась в щедро субсидируемое филиальное отделение столицы панславизма на реке Москве. Само собой разумеется, что и этот процесс развития совершался не совсем прямолинейно. Ведь не так давно Англия после устранения, путем убийства, династии Обреновичей, на долгое время отказалась от дипломатического представительства в Белграде. Однако английские и французские политики все чаще и чаще стали привозить с собой из своих экскурсий по славянским областям Дунайской монархии столь приятные для них впечатления, прилежно подхватываемые прессой, что население этих славянских стран с нетерпением ожидает неминуемого, будто бы, после смерти престарелого императора

[1]) Вопросу о славянских происках посвящена весьма обширная литература. Краткое изложение вопроса можно найти в статьях Иберсбергера, помещенных в изданном Тайбером коллективном труде: «Deutschland und der Weltkrieg» («Германия и мировая война»).

распада Габсбургской монархии. В самых же славянских областях не ограничивались простым изучением грядущих возможностей, но путем прессы, брошюрной литературы, союзов и собраний совершенно определенно стали подготовлять умы к политическим выступлениям [1]). Притом следует иметь в виду, что положение славян в австрийской монархии ни в каком случае не было совершенно беспросветным. В кругу, близком к наследнику австрийского престола, как известно, носились с планом перестройки всего государственного организма, что дало бы славянским элементам возможность более свободного развития. Планы эти строились, однако, на предпосылке, что монархия найдет в себе достаточно твердости и силы вернуть славянские части своего населения к идее австрийской государственности. Но как раз этому-то и стремился всячески воспрепятствовать и панславизм и им поддерживаемая великосербская пропаганда. Наследник престола стоял у многих поперек дороги. Его руку считали достаточно твердой, чтобы вновь взнуздать стремящиеся к распаду элементы. К тому же резко высказывалась основная противоположность между славянством и германством. Конечно, общность хозяйственных интересов при соответствующем заботливом отношении к ним могла бы, может быть, с течением времени постепенно одолеть грубый расовый антагонизм, уходящий своими корнями в далекое прошлое. Но национализм австрийских и соседних с ними балканских славян одержал верх и принял анти-немецкое направление, потому что Россия использовала его для своей великодержавной политики захватов, стремящейся к обессилению Дунайской монархии, а Франция и Англия поощряли его, как могучее средство к укрощению Германии путем истощения ее союзника.

---

1) Австро-венгерская «Красная книга» № 19 и «Досье» дают для ознакомления с этим весьма обильный и поучительный материал.

При таких обстоятельствах произошло 28 июня в Сараеве убийство эрцгерцога Франца-Фердинанда. Бомбы для совершения этого убийства были доставлены в Боснию с помощью сербских офицеров и гражданских чиновников. Палачи могли радоваться покровительству, который им оказывал союз «Народная Одбрана», поддерживаемый сербским правительством и открыто проповедывавший отпадение от Австро-Венгрии ее сербских частей. Убийство являлось кровавым симптомом созревшего у адептов великосербской идеи убеждения, что час их настал. Но пробил час и Дунайской монархии: если она снесет, не реагируя на него, этот разрушительный натиск на ее существование, то развал ее неминуем. Если бы она решилась образумить великосербских смутьянов и если бы ей никто при этом не помешал, ей удалось бы погасить огонь, грозящий охватить не только ее собственный дом, но все мирное население Европы. С момента, однако, как кто-либо из членов Антанты воспротивился бы этой последней попытке Австро-Венгрии сохранить свою неприкосновенность, вся австро-венгерская проблема вышла бы за пределы чисто теоретических построений и потребовала бы решений в масштабе всемирно историческом.

Все дело было за Россией. Мирное разрешение сербского вопроса было и на этот раз во власти русской политики. Г. Сазонов сам признался в одной беседе с графом Пурталесом, что сербское правительство заслуживает хорошей острастки. И одного слова из Петербурга было бы достаточно, чтобы побудить сербов дать удовлетворение Австрии, которое сделало бы возможным некоторый дальнейший modus vivendi. С другой стороны, если бы люди, стоящие у власти, предпочли бы руководиться заветами «исторической миссии» России, которая по старой панславистской формулировке требовала не только защиты балканских славян, но и поддержки славянских народностей Австрии, то в таком случае возникал уже вопрос о сохранении европейского мира. Те-

перь известно, что г. Сазонов искал случая к нарушению этого мира в Европе, так как мечтал о приобретении Константинополя, а для этого нужна была европейская война. Этим раз навсегда об'ясняются все выступления русской политики в июле 1914 г. Но если даже страх и обуял г. Сазонова при виде облекшейся в плоть и кровь военной фурии, подготовить дорогу которой «было сознательной целью его министерства»; все же война осталась делом его рук. Лично он все более склонялся к панславистским идеям. Человек, вполне освоившийся с западной культурой, он все же пьянел от мысли увидеть когда-нибудь «святую Русь» в роли великой, всемогущей, направляющей и обороняющей матери всей семьи славянских народов. Уже в силу этого не мог он собрать достаточной решимости, чтобы устоять против бурного требования о признании какой угодно ценой авторитета славянства. В эти роковые дни военные, а также и гражданские советники царя сумели убедить его, что спасти свой престол и империю он может, лишь направив бродившее в стране недовольство, — будь то недовольство, выросшее на почве панславистского сумасбродства или социальной ненависти, в сторону увлечения войной. Подобные мысли — после испытаний мировой войны хочется сказать: подобные преступные мысли, — по всей вероятности, во всех странах дурманили головы близоруких и неразборчивых людей из безответственных кругов общества. В России же ими были проникнуты лица, занимавшие высокие посты. Притом люди этого направления были одновременно и решительными сторонниками захвата Константинополя. Вот этим-то подстрекателям к войне и отдался всецело, как бы лишившись собственной воли, г. Сазонов, когда на совещании 21 февраля он вместе с ними решил, что Россия должна овладеть проливами, хотя бы ценой европейской войны.

Итак, для того, чтобы привести лавину в движение, не требовалось даже обращения сербского наследного принца к вели-

кодушному сердцу царя. Когда он 24 июля умолял русского императора «возможно скорее прийти на помощь Сербии», Сазонов в душе уже принял решение. В тот же самый день русский совет министров постановил поддержать Сербию и военными средствами. На следующий день были проведены у царя соответствующие приказы, и Сазонов уже принимал меры во французском посольстве, чтобы заручиться помощью Англии. Английский посол Бьюкенен сделал точное сообщение об этой беседе и передал слова Сазонова, что если Россия будет иметь возможность положиться на Францию, он не побоится войны [1]). Условие, поставленное здесь русским министром, следует понимать лишь как явно дипломатический ход. Что г. Пуанкарэ, который уже в 1912 г. «не пожалел бы, если бы началась война», будет участвовать в ней при всех обстоятельствах, — г. Сазонов прекрасно знал, когда беседовал с г. Бьюкененом. Но ему нужно было узнать, как думала Англия на этот счет, потому что против воли Англии он не мог решиться на войну. У связанной союзом с Японией Великобритании было достаточно сил и средств, чтобы вытравить в России всякие помышления о войне. Окончательно распахнуть войне уже приотворенные врата г. Сазонов мог осмелиться лишь в случае уверенности, что из них выступит в полном своем вооружении также и Англия. Итак, все зависело от поведения последней. Что же сделала она?

О мировой войне, возможность которой сэр Эдуард Грей, конечно, прекрасно видел, английский дипломат говорил с ужасом и в крайне резких выражениях, хотя он признавал, что с английской точки зрения австро-сербский спор сам по себе не требует международного вмешательства. Если ультиматум, пред'явленный к Сербии, не поведет к конфликту между Австрией и Россией, то Англии нечего об этом беспо-

---

1) «Синяя книга» № 17.

коиться. Однако для такой локализации спора он не сделал ничего. Собственно говоря, с самого начала он считался с неизбежностью вмешательства России и признавал его вполне естественным. Как только Россия об'явила дело Сербии своим собственным делом, он вполне этому подчинился. Но и не одно лишь это. Он не только не сказал в Петербурге своего властного слова, которое и тогда еще могло оказать действие, но, наоборот, дал русскому кабинету ясно понять, что вообще такого слова говорить не собирается. 24 июля сэр Эдуард Грей сказал князю Лихновскому, что, ввиду формы австрийского ультиматума, он чувствует себя совершенно бессильным оказать на Россию какое-либо умеряющее влияние. Английский министр счел даже нужным известить предварительно г. Камбона о своем намерении сделать подобное сообщение германскому послу. Неужели сэр Эдуард Грей думал, что Камбон скроет эти любопытные слова в глубине своей души, и не имел ли он, наоборот, полного основания полагать, что обо всем этом будет немедленно осведомлен их русский коллега? Вот каким образом г. Сазонов получил ожидаемый ответ. Сдержанность Грея по отношению к Сербии зашла так далеко, что он поручил английскому представителю в Белграде рекомендовать сербскому правительству уступчивость в отношении некоторых незначительных пунктов, но в остальном посоветовать ответить на австрийские требования так, как сербское правительство считает наиболее удобным в своих интересах. Даже пифия не могла бы более определенно поощрять Креза. 27 июля отняло у правящих лиц в Петербурге последние сомнения. В этот день сэр Эдуард Грей дал понять русскому послу, что мнение о безусловном безучастии Англии неосновательно. Он сообщил, что 1-й морской дивизии отдан приказ не расходиться после маневров [1]). Это было уже явное поощрение. Австрийского посла

[1]) «Синяя книга» №№ 47 и 48

Грей также информировал о концентрации эскадры, прибавив, что, ввиду возможности войны, Англия не может разбрасывать свои военные силы. Это была столь же явная угроза, хотя Грей это и отрицал. Вероятно, к этому присоединились и другие факты, окончательно рассеявшие у России всякие сомнения относительно поведения Англии. Знаменитое донесение бельгийского представителя в Петербурге определенно наводит на такие предположения. 30 июля г. де л'Эскейлль писал: «Теперь в Петербурге твердо уверены, что Англия поддержит Францию. Поддержка эта ввела новый необыкновенно мощный фактор и не мало способствовала усилению военной партии». И в тот же день петербургский корреспондент агентства Рейтера послал в Лондон свою так часто цитируемую телеграмму с сообщением о том огромном впечатлении, какое произвел выход английского флота из Портланда. В связи с последовавшими дружелюбными заверениями Японии это более чем укрепило и так уже твердое намерение России довести дело до войны. Таким образом сэр Эдуард Грей расстроил свои собственные, а одновременно с тем и наши попытки посредничества.

В об'яснительной записке к нашей «Белой книге» значится, что Англия «бок о бок» с нами работала в пользу сохранения мира. Наша тогдашняя неполная осведомленность о поведении Англии еще допускала возможность такого мнения, которое впоследствии английская публицистика толковала как признание нами английского миролюбия. Оставаться при этом суждении в настоящее время, значило бы противоречить собственным официальным сообщениям наших противников, в достаточной мере освещающим причастность Лондона к дипломатической подготовке войны.

Не были ли безнадежны сами по себе наши собственные попытки к посредничеству? Когда кризис достиг своего зенита, мы побудили Вену к определенному заявлению, что она не претендует ни на какие части Сербии, что не затронет

ее независимости и только временно займет войсками сербскую территорию. Мы настойчиво рекомендовали венскому кабинету принять в споре с Сербией посредничество, предлагаемое Греем, и путем усиленного давления добились этого. Благодаря нам опять возобновились прямые сношения между Веной и Петербургом. Я распорядился при этом передать на словах графу Берхтольду, «что мы готовы исполнить свой долг союзника, но вовсе не желаем, чтобы Австро-Венгрия вовлекла нас в мировой пожар несоблюдением наших советов». Наши шаги, предпринятые в Вене, имели успех. Но сохранить мир мы не могли, потому что Петербург ему изменил. А Петербург изменил ему потому, что Англия не обуздала его воинственных вожделений. Правда, в дипломатических воздействиях со стороны Англии на Петербург не было недостатка, так как сам по себе Грей не хотел войны. Но все они не выходили за пределы любезного уговаривания, и Грей спокойно относился к тому, что в Петербурге не обращали никакого внимания на его советы. Он ничего решительно не предпринял для укрощения воинственного настроения в Петербурге, все более и более возраставшего. Различные посреднические выступления Англии всегда имели характер давления на Петербург, но твердого воздействия на Петербург, подобного нашему воздействию на Вену,—не было. Это и есть причина, почему наша посредническая деятельность оказалась по существу безнадежною.

В поведении Британии повторялись явления, наблюдавшиеся уже во время миссии Хольдена. Тогда Англия желала войти в соглашение с Германией, но так, чтобы при этом никоим образом не была задета Франция. То была квадратура круга. Теперь Грей хотел сохранить мир, но только если это не помешает намерениям России. Это было еще более невозможно. Теперь созрели те всходы, которые взрастила английская политика. Все более сильное тяготение к франко-русскому союзу, усиление его военными соглашениями —

все это были те узы, которыми Грей сам связал себе руки. Он уже не был свободен в своих действиях и чувствовал, что после всего этого было бы несовместимо с его честью, если бы он захотел осадить своих друзей на Неве властным предупреждением. Только таким предположением могу я об'яснить его политику.

Германия также была несвободна. Но ее обязательства были другого характера. Даже в самый критический момент наши союзные отношения к Австро-Венгрии не препятствовали нам предпринимать самые серьезные шаги, чтобы рекомендовать нашему другу и союзнику столь необходимую для сохранения мира умеренность. Но могли ли мы еще свободно решать, предоставить ли Австро-Венгрию в этом жизненном для нее вопросе ее собственной судьбе или нет?

Вырвать у франко-русского союза путем сближения с Англией его ядовитое жало не удалось. Англия не оставила никакого сомнения в том, что франко-русский союз она решила поддерживать не только дипломатическими, но и военными мерами. Союз вел воинственную политику. Пуанкарэ являлся представителем идеи реванша. Россия намечала поход на Константинополь, а путь туда шел через Берлин и Вену. Русские батальоны умножались из года в год, благодаря французскому золоту. Франция ввела по требованию России трехлетнюю воинскую повинность, которую выносить долго она не могла, да и не хотела. Мирная совместная работа в международном масштабе далеко не являлась целью правительства. Те тенденции, которые проявились в набеге на буров, в русско-японской войне, в внезапном нападении на Триполи и в балканских заговорах, не были еще вытравлены ни одним мирным договором. Материальная мощь — вот та цель, к которой эгоистически стремились великие державы. Приобрести эту мощь, удержать ее за собой — готовы были ценой какой угодно гекатомбы из человеческих жизней. Немецкие политические руководители видели, что само суще-

ствование Германии, как великой державы, висело на остриях вражеских штыков. Единственный надежный союзник Германии, как казалось, был близок к разложению, в случае если ей не удастся обезвредить мины, подложенные под самый фундамент его дома. Если бы этот союзник вышел из строя, а тем более перешел бы в лагерь врагов, считая себя преданным своим старым другом при защите самых жизненных своих интересов, то Германия осталась бы совсем одинокой. Она задохлась бы в замкнувшемся кольце враждебных держав, в котором на почве мирового империализма об'единились ревнивая зависть к усиливающемуся экономически конкуренту, антагонизм славянской расы с германской и неугасающая ненависть к победителям 1870 г.

Таковы основания, по которым германская политика считала нужным одобрить решение Австрии выступить против Сербии и по которым она поддержала Австрию заявлением о своей союзнической верности.

Я хорошо понимаю, что после того исхода, который имела война, легко можно махнуть рукой на эти и всякие другие аргументы. Но все же обвинители, цель которых не только охотиться за виновниками войны, имеют право и теперь задать вопрос, почему германская политика не велась так, чтобы мы вообще не были поставлены перед этим роковым вопросом? Мне кажется, что при этом во много раз переоценивают свободу в выборе решений, которая была нам предоставлена в последнее десятилетие. Германия также находилась под обаянием господствовавших во всем мире идей о могуществе. Если вникнуть в мысли Бисмарка, то из его постоянно повторяющихся изречений о его cauchemar des coalitions (кошмаре коалиций), о насыщенности Германии, из его осторожности во всех вопросах морской и колониальной политики—станет достаточно ясно, насколько хорошо он сознавал опасность, которая со всех сторон угрожала новой Германии, созданной, как и все другие великие державы мира, средствами

внешней силы и принуждения. Бьющее через край и почти слишком стремительное развитие сил Германии, принудив ее к участию в мировой политике и заразив характерным для нашей эпохи стремлением к материальному могуществу, заставило ее выдвинуть новую программу, которая не могла уже лавировать между рифами, которые умел обходить Бисмарк. Морская политика и восточные дела — вот наиболее характерные признаки нового курса. И не один немецкий государственный деятель не в силах был бы повернуть руль в другую сторону, пока он не предоставил бы своему народу достаточно солидных гарантий, что те великие противоречия мировых интересов, в которые и Германия была втянута, получат свое разрешение не мечом, но посредством мирных соглашений. Единственный путь к этому — и я должен это все вновь и вновь повторять — было сближение с Англией. Франция жила под гипнозом мысли о реванше, Россия находилась во власти идеи своей «исторической миссии» на Балканах и в Константинополе, Австро-Венгрия, с ее смесью национальностей, слишком запуталась в своих внутренних затруднениях, чтобы играть руководящую роль. Германия и Англия казались мне единственными свободными державами, не побуждаемыми никакими элементарными интересами к изменению status quo. Лорд Хольден, наверно, помнит один вечер в моем доме, когда я старался ему доказать, что искреннее сближение наших стран обеспечило бы мир между всеми народами и могло бы постепенно склонить все державы от служения призраку вооруженного с ног до головы империализма к противоположному полюсу мирного сотрудничества. Но и ему оказались ближе английские дредноуты и французская дружба.

Раз Германия, таким образом, натолкнулась на неуклонную тенденцию к дальнейшему расширению и военному упрочению системы европейских коалиций, вместо стремления к уничтожению ее воинственного характера, то, естественно,

германская политика не могла в одиночестве продолжать итти по той дороге, по которой никто с ней итти не хотел. Приходилось открыто смотреть в глаза жестокому факту, что поведение правительств определялось не какой-нибудь великой всечеловеческой идеей, а наоборот: все искусство государственного управления сводилось к желанию осуществить свои вожделения силой оружия. Германская политика была вынуждена ограничиваться паллиативными мероприятиями, надеясь путем отсрочек и замедлений избежать в конце концов грозной опасности. Но если ей не суждено было в интересах мира преобразовать враждебную ей группировку держав, то, с другой стороны, она не могла допустить и ничего такого, что повело бы к ослаблению ее собственной группы. В этом лежит причина того факта, что сохранение союза с Дунайской монархией оставалось краеугольным камнем нашей политики. Еще во время балканских войн мы успешно противодействовали всем стараниям России, направленным в ущерб Австро-Венгрии. Однако и России с ее ориентированной на Константинополь политикой мы показали нашу готовность к уступкам, неоднократно заявляя русскому кабинету, что мы не намерены создавать ему затруднений в вопросе о проливах. Мы продолжали, таким образом, нашу традиционную политику, стараясь, чтобы более заинтересованные в этом вопросе державы не могли нас стравить из-за него с Россией [1]). Но у нас не было средства против этого

---

[1]) В последний раз Россией затрагивался этот вопрос в Берлине в 1911 г. С тех пор русские уже не обращались к нам со своими желаниями относительно проливов. От своего посла Чарыкова, который в 1911 г. добивался в Константинополе открытия проливов, петербургский кабинет отрекся, натолкнувшись на сопротивление со стороны Англии, и вскоре после этого отозвал его. Его преемник г. фон Гирс в продолжительной беседе с немецким посланником в марте 1914 г. развивал свою программу на тот случай, если он будет призван на место Сазонова. Программа его строилась на мысли о русско-герман-

стремления России к войне. Если она ставила перед нами этот роковой вопрос, то мы вынуждены были на него ответить.

Могли ли мы в ответ на него пожертвовать Австрией? Если бы мы допустили распад Австро-Венгрии, славянский мир добился бы победы, имеющей вековое значение. Для европейского запада этот легкий триумф Москвы представлял бы начало эпохи тяжелого русского ига. Германия после падения Австрии играла бы роль послушного вассала Востока. В иной форме и в условиях изменившейся европейской жизни повторилась бы тогда для нас эра Николая I, быть может, уже под именем Николая III. В случае же проявления со стороны Германии строптивости, ее покорители могли бы по собственному усмотрению выбрать любой день, чтобы вычеркнуть ее из числа великих держав.

Подобная капитуляция представлялась мне невозможной.

ском сближении и имела в виду широкое удовлетворение желаний России, в то же время сохраняя неприкосновенной турецкую территорию. Г. фон Вангенгейм доносил о проектах Гирса с самым крайним скептицизмом. Насколько уместен был такой скептицизм можно видеть из большевистских документов. В неоднократно упоминавшемся выше заседании 21 февраля 1914 г., в котором обсуждались планы военных операций в Дарданеллах, принимал участие также и г. фон Гирс и не высказал, насколько можно судить по протоколу, никаких расходящихся с другими мнений. Мало вероятно, чтобы он заручился согласием царя на политику охранения Турции и русско-немецкого сближения почти в то же самое время, когда царь одобрил план Сазонова на овладение Константинополем. Если бы Гирс попытался проводить собственную политику, то от него можно было бы так же легко отказаться, как раньше от Чарыкова. Если же ему, как преемнику Сазонова, пришлось бы стать перед вопросом, как согласовать политику русско-германского сближения с близкими отношениями с западными державами, то, по всей вероятности, события Потсдама повторились бы вновь. Впрочем, проверка этого на опыте не состоялась потому что Сазонов остался у кормила правления и продолжал свою воинственную политику.

Широко распространенная легенда ставит возникновение войны в связь с Коронным советом, состоявшимся 5 июля 1914 г. в Потсдаме. Даже немцы поверили этой сказке, хотя наши противники, которые, наверно, набросились бы на эту находку, в своих официальных публикациях ничего не сообщают о подобном совещании, и хотя самое поверхностное исследование обнаружило бы, что большинство перечисляемых участников не было в это время ни в Берлине, ни в Потсдаме.

В действительности же дело происходило следующим образом:

5 июля 1914 г. австро-венгерский посол граф Сцогиени после завтрака за императорским столом передал германскому императору собственноручное письмо императора Франца-Иосифа вместе с докладной запиской своего правительства. Эта докладная записка содержала обширную программу балканской политики на продолжительный срок и намечала ряд энергичных дипломатических действий, направленных против русских планов. Для оказания сопротивления враждебной Сербии и для замены ставшей ненадежной Румынии предполагалось создать себе опору в Болгарии и Турции. Конечной целью являлось создание балканского союза под покровительством центральных держав, с исключением из него Сербии. События в Сараеве были приведены в качестве доказательства, что антагонизм между Австро-Венгрией и Сербией принял характер непримиримый и что австрийской монархии приходится считаться с упорной, неутомимой и агрессивной враждою Сербии. Письмо императора Франца-Иосифа резюмировало идеи докладной записки и указывало на то, что мировая политика держав оказалась бы под постоянной угрозой, если позволить агитации Белграда беспрепятственно продолжаться. Император принял оба документа, заметив при этом, что он может ответить только после совещания со своим рейхсканцлером. После обеда того же 5 июля я и заместитель находившегося тогда в отпуску

статс-секретаря фон Ягова — Циммерман имели аудиенцию у императора в парке нового дворца в Потсдаме. Кроме нас, никто не присутствовал. С главным содержанием австрийских документов, копия с которых была препровождена г. Циммерману, я предварительно ознакомился. После моего общего сообщения о содержании их, император сказал, что он не может обманывать себя относительно серьезности положения, в котором находится Дунайская монархия вследствие великосербской пропаганды. Но не наше дело давать совет союзнику, как ему реагировать на Сараевское убийство. Решить это должна Австрия сама. Мы должны тем более воздержаться от прямых советов и указаний, что обязаны всеми мерами стремиться к тому, чтобы австро-сербский спор не вырос в международный конфликт. Но император Франц-Иосиф должен знать, что в решительный момент мы не оставим Австро-Венгрию. Наши собственные жизненные интересы требуют сохранения Австрии в целости. Привлечь Болгарию ему представляется полезным, но не следует из-за этого совершенно отталкивать Румынию.

Эти взгляды императора сходились с моими собственными. Возвратившись в Берлин, я принял графа Сцогиени и об'явил ему, что император сознает опасность панславистской и великосербской пропаганды. Ввиду поведения Румынии и стремлений к созданию нового балканского союза против Австро-Венгрии, мы согласны поддержать шаги Австрии к привлечению Болгарии к тройственному союзу. В Бухаресте мы приложили усилия в смысле направления политики Румынии в благоприятную по отношению к тройственному союзу сторону. По поводу взаимоотношений между Австро-Венгрией и Сербией император ничего не может сказать, так как они не входят в его компетенцию. Однако император Франц-Иосиф может быть вполне уверен, что германский император, в полном согласии с союзническими

обязанностями и со старой дружбой, сохранит верность Австро-Венгрии и будет стоять на ее стороне.

6 июля император отправился в путешествие на север и на послание императора Франца-Иосифа ответил 14 июля из Борнгольма в том же самом смысле. Легенда о Коронном совете и о решениях, принятых на нем, таким образом, никакой почвы под собою не имеет. Никакого Коронного совета не было.

Далее, утверждали также, будто мы силой толкнули Австрию на путь войны для разрешения этих вопросов. Донесение баварского посла г. фон Шена от 18 июля 1914 г., недавно опубликованное Куртом Эйснером, как будто подкрепляет эту версию. Правильно ли г. фон Шен истолковал полученные им в статс-секретариате иностранных дел и от других дипломатов сообщения, — судить не берусь. Однако я сомневаюсь в этом. Вероятно, он их спутал с данными из других источников [1]). Для нас было лишь важно, чтобы Вена, если она вообще хочет действовать, не предпринимала половинчатых и медлительных решений. Это не улучшило бы положение, но только еще более осложнило бы его. Основная линия нашего поведения остается, несмотря на это, совершенно определенной. Она намечена достаточно ясно в ответе графу Сцогени, и мы ее не покидали и впоследствии.

С другой стороны, нам ставят в упрек, что, поощряя вступление Австрии, мы не взяли твердо в свои руки руководство им. Особенно осуждают нас за то, что Австрия отправила ультиматум Сербии без нашего предварительного ознакомления с ним и без одобрения как его общего содержания, так и всех заключающихся в нем подробностей. Еще в настоящее время я считаю, что мы бы совершили

---

[1]) Согласно сообщению фон Шена, Эйснер исказил смысл его донесения, выпустив существенные места. Этим, само собой разумеется, изменяется по существу и оценка донесения фон Шена.

ошибку, если бы пожелали предупредить этот упрек. Я не имею здесь в виду того обстоятельства, что раньше, и особенно во время балканских войн, венский кабинет неоднократно давал нам почувствовать, что мы нашим примиряющим вмешательством приносили вред австрийской политике. Между союзниками, притом тесно связанными друг с другом, такие явления нежелательны. Впрочем, этот момент в данном случае не имел сколько-нибудь решающего значения. Однако мы превратили бы с самого начала австро-сербский конфликт в международный, если бы австрийское выступление сделали германо-австрийским. В таком случае мы сами лишили бы себя всякой возможности локализировать столкновение и, в случае неудачи в этом отношении, организовать международное посредничество: мы не могли бы отказаться от формы и содержания ультиматума, определенно нами одобренного, и выступить в той роли посредника, которую мы на себя взяли с самыми серьезными намерениями и которая могла бы иметь успех, если бы противная сторона не была бы так упорно несговорчива. Само собою разумеется, что мы требовали у венского кабинета постоянных информаций о его намерениях. Утверждение, будто мы дали ему полную свободу действий, — тоже одна из легенд, в столь большом изобилии расплодившихся во время войны. О требованиях, которые Вена собиралась пред'явить Сербии, г. фон Чиршки в общих чертах поставил нас в известность. Принципиально мы ничего против них иметь не могли. Текст самого ультиматума представил мне статс-секретарь фон Ягов непосредственно после того, как граф Сцогиени ему таковой сообщил, поздно вечером 22 июля, с замечанием, что он считает его слишком резким. Он прибавил, что заявил об этом также и послу; он выразил ему также свое удивление, что вследствие позднего уведомления оказался лишенным возможности вообще высказаться по поводу такого важного документа. Согласно заявления посла, ультиматум уже был

отправлен из Вены в Белград, подлежал там вручению на следующее утро и одновременно опубликованию в венской официальной печати.

Таковы факты. Они опровергают высказанное другой стороной утверждение, будто мы принимали участие в составлении ультиматума, старались даже по возможности придать ему более острую форму и, во всяком случае, ознакомлены были с этим документом еще в то время, когда еще возможно было повлиять на его содержание или форму. В этом нет ни одного слова правды.

Был ли ультиматум слишком резок? Обвинители Германии, которые, как кажется, всего больше желают доказать виновность ее в войне, делают из его резкости вывод о силе воинственных тенденций центральных держав; другие критики считают острую форму его даже фактической причиной войны, и сэр Эдуард Грей, как уже известно, заявил нашему послу, что форма ультиматума лишает его возможности оказать успокаивающее воздействие на Петербург. Я, с своей стороны, тоже был недоволен резкой формой ультиматума, потому что она, действительно, могла создать ложные впечатления, что центральные державы желали мировой войны. Оставаться при подобном мнении и после того, как определенно выяснилась наша посредническая деятельность, можно только при наличии предвзятости, которая, повидимому, неразрывно связана с политикой. Фактически Австро-Венгрия могла только в том случае сладить с грозящей ей со стороны Сербии опасностью, если бы она действовала энергично. Бархатные перчатки только подбодрили бы великосербскую пропаганду и раздражили бы Россию. В таком случае было бы лучше совсем сложить руки. Только действия, исполненные решимости и силы, могли оградить австрийскую монархию от распада и одновременно с тем, — как это ни парадоксально, — на долгое время сохранить всеобщий мир.

Должна ли была австро-сербская война непременно перейти в мировую? И в этом вопросе также переплетаются между собою нравственная ответственность за войну и ее причины. Австро-Венгрия пошла на войну с Сербией в целях самообороны, и Германия поддерживала союзника, потому что его гибель грозила и ее собственному существованию. И та и другая действовали из побуждений простого самосохранения. Напротив, если Россия допустила обращение сербской войны в мировую, то к этому побуждала ее только мнимая задача охраны всех славян и овладения проливами. Она действовала не в целях самозащиты, но из стремления к расширению своего могущества. Международная анархия, в которой мы жили и, повидимому, еще будем жить, не имеет никакого кодекса морали, который устанавливал бы верный критерий для оценки нравственности или безнравственности различных политических действий. Война признавалась хотя и крайним, но все же легальным средством для осуществления национальных целей. Я не знаю, склонны ли еще сторонники этой точки зрения и теперь, после ужасов войны квалифицировать воинственные тенденции России, как «морально» оправдываемые. Но даже тот, кто считает стремление к расширению своих владений моральным оправданием войны, — должен будет с этической точки зрения отдать предпочтение мотивам самозащиты. И хотя политический деятель не вправе базироваться в своих расчетах только на моральных рассуждениях противника, все-таки он не может совсем отрешиться от того базиса, без которого жизнь народов так же немыслима, как и жизнь отдельного человека. При таком взгляде на положение в июле 1914 г. напрашиваются следующие соображения:

Хотя нам еще не были известны одобренные царем в феврале 1914 г. соображения Сазонова, у нас, однако, не было ни минуты сомнения относительно натянутости положения в Европе. Только чрезмерной страстностью, а иногда и пред-

взятой неприязненностью критики можно об'яснить упрек, будто я с завязанными глазами слепо шел прямо к пропасти. Всякая работа, направленная к сохранению мира, должна была, естественно, разбиваться о твердую, как камень, и не смягченную воздействием Англии волю России к войне. Закрыт ли был, однако, в силу самой политической необходимости путь мирных соглашений, если бы Россия не преградила его намеренно? С заявлением о неприкосновенности Сербии и с возобновлением прерванных временно прямых сношений между венским и петербургским кабинетами — и то, и другое, как уже было указано, являлось результатом наших настойчивых советов — Россия была лишена всякого об'ективного основания вести дело к мировой войне. Если бы Петербург вступил на этой почве в непосредственные переговоры с Веной, то легко можно допустить, что — под нашим давлением в Вене и английским в Петербурге — возможно было бы достигнуть соглашения, приемлемого и для России без особо тяжелого ущерба для ее престижа. Сэр Эдуард Грей тоже считал посредничество еще возможным даже после вступления войск Австрии на сербскую территорию, при условии определенного заявления со стороны Австрии, что она сохранит за собою занятую ею территорию лишь до получения от Сербии полного удовлетворения, а также прекратит дальнейшее наступление [1]). Кто, однако, держится того мнения, что Россия вообще не могла потерпеть какого-либо вмешательства в свои планы на Балканах, и что мы должны были это предвидеть и потому не поддерживать Австрию в ее выступлении против Сербии, — тот требует от германской политики какого-то самоотречения. Я не могу согласиться с утверждением, что выбор пути, по которому мы пошли, можно об'яснить только ошибкой наших политических взглядов.

[1]) «Синяя книга» № 88.

В одном я, однако, должен сознаться. В начале кризиса я твердо верил, что даже Россия с ее политическим образом мыслей без крайней необходимости не отважится на этот страшный последний шаг, и что тем более Англия, встав перед необходимостью принять столь ответственное решение, поставит сохранение всеобщего мира выше всех дружеских связей.

По поводу нашего посредничества нас особенно упрекали в том, что мы отказались от предложенной Греем конференции послов в Лондоне. В разных органах печати из лагеря противника стараются изобразить дело так, будто мы вообще сопротивлялись посредничеству держав. Однако даже поверхностное изучение документов показывает, что это совершенно неверно. Надо различать между предложением посредничества четырех непосредственно незаинтересованных в сербской ссоре держав — Англии, Франции, Германии и Италии — с одной стороны в Вене, с другой — в Петербурге, и предложением созыва конференции послов в Лондоне. К предложениям о совместном посредничестве германское правительство с самого начала и во всех его дальнейших стадиях относилось вполне сочувственно. При этом мы стояли на той точке зрения, что дело идет о посредничестве не между Веной и Белградом, но между Веной и Петербургом. О конференции послов заговорили с нами в форме запроса из Англии: имелось в виду установить сношения по этому вопросу сэра Эдуарда Грея с французским, итальянским и германским послами в Лондоне для обсуждения мер к предупреждению дальнейших осложнений. То было не что иное, как вмешательство великих держав в спор между Австрией и Сербией. В английской Синей книге [1]) и французской — Желтой [2]) имеются два документа, которые бросают свет на

---

[1]) № 10.
[2]) № 32.

эти планы вмешательства. В то время, как Грей прежде всего имеет в виду общее воздействие на Вену и Петербург, Поль Камбон определенно желает направить дипломатические мероприятия по пути посредничества между Австрией и Сербией. К тому же еще заручились мнением и русского посла, который к предложению в такой форме отнесся вполне сочувственно. Если принять во внимание характер этих предварительных переговоров, то германская точка зрения на лондонскую конференцию получит тем большее оправдание: это была попытка тройственного согласия передать австро-сербский спор для разбора на суд европейских держав, вернее сказать — на свой собственный суд. Конечно, никто не мог думать, что немецкий член конференции будет иметь какое-либо серьезное значение против настроенных в русско-сербском духе представителей Англии и Франции и против итальянского делегата. Эта затея вообще не обещала беспристрастного обсуждения вопроса, тем более в такой момент, когда Россия уже делала широкие военные приготовления. Дело, несомненно, только затянулось бы, тем более, что Поль Камбон считал наиболее существенным — выиграть время, путем посредничества в Вене. Австро-Венгрия же, напротив, была заинтересована в быстром и определенном улажении инцидента. Было бы крупным ущербом интересам нашего союзника, если бы мы стали участвовать в таком третейском суде, как с полным основанием назвал эту конференцию статс-секретарь фон Ягов, пока Австро-Венгрия сама не желала вмешательства держав в свои разногласия с Сербией. Упрекать нас можно было бы лишь в том случае, если бы мы вообще отказались от всякого посредничества. Но мы сделали нечто совершенно противоположное, как показывают наши настойчивые шаги в Вене и телеграммы германского императора царю. Сам Грей отказался от своей мысли о конференции, когда мы наладили непосредственный обмен мнениями между Веной и Петербургом, ко-

торый он определенно обозначил, — что особенно следует подчеркнуть, — как наилучший из всех возможных путей [1]). Мало того, противная сторона не должна была бы замалчивать, что и в Петербурге непосредственные переговоры с Веной предпочитали конференции послов [2]). Когда позднее Грей снова предложил посредничество четырех держав между Россией и Австро-Венгрией, мы не только на это согласились, но стали самым решительным образом действовать в Вене в пользу его принятия. Таким образом со стороны Германии не было сделано в этом отношении никаких упущений. Если мы, учитывая положение нашего союзника, не сделали тотчас достоянием всего мира сведения о том сильном давлении, которое мы на него производили, то к такой сдержанности мы были тем более обязаны, что ничего не было известно о подобных же настойчивых шагах противоположной стороны в Петербурге. Во всяком случае разница была несомненная. Англия не воспользовалась своим громадным влиянием в Петербурге, чтобы создать почву для посредничества, или употребила его в далеко недостаточной мере. Она упустила наиболее существенное, именно: фактическую приостановку военных приготовлений. . .

---

27 июля император возвратился из путешествия на север. Я ему посоветовал предпринять это путешествие, чтобы избежать шума, который могла вызвать отмена с давних пор ежегодно предпринимавшейся в этом месяце поездки. Французская печать склонна изображать дело так, что с возвращением императора повеяло сразу более резким ветром. В своих непрерывных личных сношениях с государем я ничего подобного не чувствовал. Наоборот, он не хотел упустить

---

[1]) «Синяя книга» № 67.

[2]) «Оранжевая книга» № 32.

ни одного шага, способного содействовать сохранению мира. Наше сильное давление на Вену вполне соответствовало его глубочайшим убеждениям; попытка личного воздействия на царя и английского короля возникла исключительно по личной его инициативе. Конечно, ему хорошо были известны как слабость и непостоянство царя, так и ограниченное конституцией значение короля Англии, при котором действительное влияние на дела могла оказывать только особенно сильная личность. Но он не хотел оставить неиспытанным ни одного пути. Ему — глубоко и страстно преданному идее мира — было совершенно непонятно, как его родственники на русском и английском тронах могут не быть проникнуты таким же чувством ответственности и не стремиться сделать все возможное для предупреждения мировой катастрофы. Его слова и в самом деле заставили царя задуматься. Они побудили последнего, как нам теперь известно из процесса Сухомлинова, отдать распоряжение о приостановке исполнения отданного уже приказа о всеобщей мобилизации. Однако высшие военные власти не послушались, хотя и лгали ему, что его приказы выполняются. Утром 31 июля генералы Сухомлинов и Янушкевич, при содействии Сазонова, окончательно убедили царя в необходимости мобилизации. Насколько мне известно, Сазонов не возражал против этих показаний.

На основании тех выводов, которые мы сделали из русской всеобщей мобилизации, враги наши утверждают, что мы вызвали войну и являемся ее виновниками. Есть и немцы, которые стали на эту точку зрения наших врагов. Другие немцы, как известно, держатся мнения, что не было необходимости требовать отмены русской мобилизации и об'являть войну, когда наше требование не было выполнено.

Для русской общей мобилизации можно допустить только три разумных основания: или это был со стороны России просто блёф, т.-е. она желала произвести эффект, надеясь

этим побудить центральные державы к уступчивости; или она считала себя в угрожаемом положении; или, наконец, определенно хотела войны. Иных возможных об'яснений, как мне кажется, нет.

Первое из них может допустить лишь тот, кто полагает, что г. Сазонов не уяснил себе вполне последствий русской мобилизации. Но этому противоречат все известные обстоятельства. Уже 26 июля я дал поручение графу Пурталесу поставить на вид, что подготовительные военные меры со стороны России принудят нас к ответным мероприятиям, т.-е. к мобилизации армии. Мобилизация же равносильна войне. Граф Пурталес выполнил это поручение немедленно и не пропускал ни одного дня, чтобы не напоминать русскому министру, какая ужасная ответственность ложится на его совесть за эти подготовительные к мобилизации меры. 29 июля я повторил предостережение и подчеркнул, что дальнейшее развитие подготовки к мобилизации в России заставит Германию также мобилизоваться и что тогда европейская война станет неизбежной. Точно также английское и французское правительства не оставляли г. Сазонову никакого сомнения относительно их мнения о мобилизации, — к сожалению, не произнося того слова, которое могло бы приостановить мобилизацию. 25 июля сэр Бьюкенен выразил г. Сазонову «серьезную надежду на то, что Россия своей мобилизацией не вызовет преждевременной войны», и «сделал все возможное, чтобы призвать министра к осторожности, предупреждая, что если Россия начнет мобилизоваться, Германия не будет довольствоваться одной мобилизацией и не даст России время закончить свою, но, вероятно, тотчас об'явит войну» [1]). Французское правительство, правда, не так ясно, но все-таки достаточно определенно «полагало, что было бы уместно, если бы Россия, принимая свои меры предосторож-

[1]) «Синяя книга» № 17.

ности и обороны, не делала при этом таких распоряжений, которые дали бы Германии повод к общей или частичной мобилизации ее военных сил» [1]). Затем, надо предполагать, г. Сазонов был осведомлен о том, что было установлено в порядке высочайшего повеления, за подписью самого царя. А русский указ о мобилизации от 30 июля 1914 г. [2]) гласит: «Высочайше повелевается об'явление мобилизации одновременно с тем считать за об'явление состояния войны с Германией». В качестве общей задачи войск северо-западного фронта указ этот устанавливает: «По окончании концентрации войск переход их в наступление против вооруженных сил Германии с целью перенести войну на германскую территорию». Впоследствии утверждали, что указ этот был отменен. Во всяком случае он доказывает, что в Петербурге отдавали себе полный отчет о значении мобилизации. Допустить недостаточную осведомленность г. Сазонова, таким образом, невозможно, и теория блёфа тем самым отпадает.

Мобилизовалась ли Россия потому, что она сама чувствовала себя под угрозой? Вспомним различные сроки мобилизации. 25 июля мобилизовалась Сербия, в ответ на австрийский ультиматум. Того же 25 июля русский совет министров в присутствии царя постановил «приступить к мобилизации 13-ти армейских корпусов, предназначенных для операций против Австрии». Эта частичная мобилизация являлась, собственно, всеобщей по отношению к австрийскому фронту и подлежала выполнению в том случае, «если бы Австрия выступила вооруженными силами против Сербии». Министр иностранных дел был уполномочен «определить время начала мобилизации». Таким образом Россия уже с первого момента решила оказать помощь Сербии, по крайней мере, путем мобилизации против Австрии, и, что особенно замечательно,

---

1) «Желтая книга» № 117.

2) В подлиннике сказано: «30 сентября 1912 г.», но это, повидимому, опечатка. *Прим. ред.*

проведение этой военной меры поручила министру иностранных дел [1]). Г. Сазонов выполнил постановление совета министров 29 июля, после того как днем раньше — 28 июля в Австро-Венгрии, одновременно с об'явлением войны Сербии, издан был приказ о частичной мобилизации, направленной, впрочем, исключительно против последней. Соотношение сил мобилизованных 29 июля войск было таково, что 24 австрийских дивизии стояли против 39-ти русских и 15-ти сербских, в общем, следовательно, против 54-х дивизий. Русско-сербские военные силы, таким образом, более чем вдвое превосходили австрийские. До об'явления всеобщей мобилизации в России соотношение сил, по крайней мере с германской и австрийской стороны, не изменилось. Утверждать при таком положении вещей, что Россия приступила к приведению всех своих сил в боевую готовность, распоряжение о чем было отдано самое позднее 30 июля, из опасения повисшей над ней военной угрозы, — нелепо. Г. Сазонов сообщил о всеобщей мобилизации через французского посла в Париж, ссылаясь на «общую мобилизацию Австрии и на носящие характер мобилизации тайные, но уже в продолжение шести дней ведущиеся непрерывные военные подготовления Германии» [2]). Такое же сообщение было направлено через английского посла в Лондон [3]), хотя и в менее сильных выражениях. То и другое неверно. Приказ об общей мобилизации был расклеен на улицах Петербурга уже рано утром 31 июля, в то время как австрийская мобилизация была об'явлена 31 июля только около полудня, следовательно во всяком случае по прошествии нескольких часов после расклейки приказа о русской мобилизации и, по крайней мере, спустя ночь после отдачи о ней распоряжения. Точно также лживо утверждение, будто Германия в течение шести дней, т.-е. с 25 июля, тайно

[1]) «Желтая книга» №. 50.
[2]) Там же, № 118.
[3]) «Синяя книга» № 113.

занималась непрерывным приведением себя в боевую готовность. Мы только принимали такие же меры, как и другие страны, отчасти даже в меньшем размере. Мы отозвали свой флот из норвежских вод, равно как и Англия не распустила свою обычно расходившуюся после маневров эскадру. Так же как и во Франции, у нас были стянуты из лагерей и с маневров войска. В некоторых наших армейских корпусах были приостановлены отпуска; Франция же совершенно прекратила их выдачу уже с 27 июля. «Секретные» мобилизации, может быть, возможны в обширной России, но в Германии, как это прекрасно известно русским военным, они совершенно невыполнимы. Сотни тысяч людей, тысячи лошадей и повозок в стране с такими путями сообщения, как Германия, нельзя мобилизовать «секретно» [1]).

Отсюда следует, что русское правительство обосновало свой приказ о мобилизации ложными фактами, и нельзя допустить, что оно несознательно воспользовалось неверными данными, ссылаясь на вымышленную австрийскую мобилизацию. Едва ли что другое могло бы резче обрисовать действительные мотивы петербургских властей, чем эта лживость.

---

[1]) Только значительно позже, уже во время войны, вспомнили в Петербурге экстренный послеобеденный выпуск «Berliner Lokalanzeiger» от 30 июля, который напечатал неверное сообщение о мобилизации немецкой армии. Немедленно произведенное официальное расследование показало, что газета эта переусердствовала, во всяком случае из определенно недобросовестных деловых соображений. Статс-секретарь фон Ягов тотчас информировал по телефону русского посла и его французского и английского коллег о том, что это сообщение ложно, и г. Свербеев препроводил это опровержение непосредственно в Петербург. Если бы это ложное сообщение «Lokalanzeiger» повлияло на решение русского правительства, то об этом были бы указания в различных дипломатических книгах, именно в упомянутых уже телеграммах французского и английского послов своим правительствам. Но по поводу данного происшествия последние не обмолвились ни единым звуком.

Но если ни с чем несообразно говорить о прямой военной опасности, угрожавшей России, то тем менее имеют основание распорядители судьбами России утверждать, будто поведение нашей дипломатии документально устанавливает наши воинственные намерения. Г. Сазонов неоднократно слышал от нашего посла, что мы оказываем сильное посредническое воздействие на Вену; он хорошо знал также буквальный смысл телеграммы германского императора к царю. Даже крайняя подозрительность могла бы заподозрить с нашей стороны притворство лишь в том случае, если бы наши злые намерения обнаружились в каких-нибудь действиях. Но их-то как раз и не было. Если русское правительство не имело основания ссылаться на германские или австрийские военные мероприятия, то тем более нельзя ссылаться на приготовления невоенного характера. Не без основания некоторые немецкие круги ставят в упрек германскому правительству именно то, что оно таких приготовлений не сделало. Утверждение, будто Россия мобилизовалась потому, что считала себя в опасности, просто выдумка, которую нельзя доказать никакими фактами.

В таком случае даже для наиболее недоверчиво настроенного критика остается возможным только третье об'яснение: Россия мобилизовалась, потому что она желала войны. Резюмируем еще раз решающие моменты: русская мобилизация была об'явлена,—несмотря на то, что Вена склонялась к непосредственным переговорам по поводу сербского конфликта с Петербургом, приняла посредничество Грея, гарантировала неприкосновенность Сербии и собиралась ограничиться лишь временной оккупацией сербской территории (что даже Англия признавала допустимым), — несмотря на то, что Австрия мобилизовала только части, назначавшиеся против Сербии, а Германия еще и совсем не приступила к мобилизации. Итак, когда утром 31 июля телеграф принес весть о русской мобилизации, мы имели основания быть уверенными, что Россия

во что бы то ни стало желала войны. Последовавшие затем разоблачения относительно общих планов Сазонова, а также о событиях, сопровождавших русскую мобилизацию, исключают теперь, как мне кажется, не только всякие сомнения, но вдвойне и втройне подтверждают, что мы были тогда совершенно правы. Правы и в том, что уже не придавали значения — в смысле влияния на действительный ход петербургских решений — торжественному обещанию царя не дозволять во время затягивавшихся переговоров с Австрией своим войскам предпринимать какие-либо вызывающие действия [1]).

Относительно формального решения вопроса у нас не было полного единодушия. Военный министр фон-Фалькенгейм считал об'явление войны России ошибкой, не потому, что полагал возможным избежать ее после русской мобилизации, но потому, что опасался вредных политических последствий. Начальник генерального штаба, генерал фон-Мольтке, был, напротив, за об'явление войны, так как наш план мобилизации, рассчитанный на войну на два фронта, предусматривал немедленный переход к военным операциям, и так как наши планы в борьбе с противником, имевшим огромный численный перевес, зависели исключительно от быстроты наших действий. Я присоединился к взгляду последнего. Конечно, я должен был предвидеть, какое значение будет иметь об'явление войны нами при решении вопроса о виновниках ее. Но в такой момент, когда само существование страны зависело исключительно от успешности военных действий, нельзя было возражать против совершенно неоспоримых военных доводов генерала, несшего ответственность за все боевые операции. Единодушие немецкого народа не было нарушено об'явлением войны России.

---

[1]) Телеграмма царя германскому императору от 31 июля, «Белая книга», введение.

Как известно, с другой стороны, нам делали упреки в совершенно противоположном направлении. Запоздавшая мобилизация и запоздалое начало войны будто бы причинили нам невозместимый ущерб. Представляло ли ускорение событий на два-три дня значительную военную выгоду, — об этом могут судить только военные авторитеты. Но что мы проиграли войну,—к чему собственно и сводится весь вопрос, потому что не начали ее на несколько дней раньше,—этого не станет утверждать ни один здравомыслящий человек. Подобным же образом можно возразить и на другой упрек, что мы недостаточно подготовили войну в экономическом и финансовом отношении и плохо провели ее — в политическом. По существу эти замечания, как уже указано, не лишены основания. Как свидетельствует опыт войны, Германия должна была заранее заготовить огромные запасы хлеба, фуража и сырых материалов. Что этого давно не было сделано — несоспоримое упущение, но в короткое время нельзя уже было пополнить этот пробел. В самом деле, каким образом при невероятно быстром развитии кризиса могли бы мы провести мероприятия, которые сколько-нибудь заметно облегчили бы наше положение в продолжение четырех лет войны? Вывоз некоторого количества хлеба из страны и отправка нескольких, хотя бы и очень значительных судов, несмотря на сопряженный с этим убыток, так же мало способствовали проигрышу войны, как мало способствовал бы ее выигрышу ввоз того количества зерна, которое в июле 1914 г. мы еще могли получить. По сравнению с пред'явленными нам войной чудовищными требованиями — это не могло иметь решающего значения. Мне не совсем ясно, как можно вообще инсценировать настоящую оборонительную войну. Даже самое искусное режиссерство, на которое я, признаться, и не способен, не в состоянии было бы избежать таких действий, которые могли быть — и у нас наверное были бы — истолкованы, как проявление агрессивных тенденций. Такая фикция не только

противоречила бы истине, но могла бы представить роковую опасность для нашей внутренней сплоченности. Избегать и того и другого при всяких обстоятельствах я считал наивысшим законом. 4 августа показало, что мое отношение было не совсем неправильным.

Роль Франции в великой трагедии 1914 г. была предопределена ее союзом с Россией и мыслью о реванше, окрылившей ее вновь, благодаря режиму Пуанкарэ. Россия, тесно примкнувшая к Сербии при самом зарождении сербского кризиса уже с готовым решением активного сотрудничества, получила, без сомнения, от Франции немедленные заверения в неограниченной союзнической верности и содействии. Ведь уже 24 июля сербский посол в Петербурге мог с торжеством заявить нашему послу, что, как последний скоро убедится, в порядке дня стоит не австро-сербский, но всеевропейский вопрос. Это являлось, конечно, определенным отзвуком русских настроений, и сам г. Сазонов не смел бы говорить с Веной в таком вызывающем тоне, если бы ему приходилось опасаться неодобрения Парижа. Фактически нельзя усмотреть никаких признаков стараний Франции умерить усердие России. Первоначальная склонность заместителя Вивиани — признать требования Австрии об удовлетворении со стороны Сербии—немедленно обратилась, благодаря телеграмме министра-президента Вивиани, проездом из Петербурга находившегося в Ревеле, в решение определенно стать на сторону Сербии.

Недоброжелательство выражалось с самого начала в неустанном старании Франции внушить подозрение к честности наших мирных намерений и в пропагандировании взгляда, будто мы выдвигаем сербский инцидент с исключительною целью напасть на Францию. Ловкими диалектическими приемами г. Жюль Камбон в своих донесениях поддерживал ложное мнение, будто подстрекатели войны сидят в Берлине. Попытки, предпринятые нами в Париже в целях побудить к успокаивающему воздействию на союзную Россию, не только

встречались с недоверием, но немедленно в искаженном виде передавались в печати. Видимо, в Париже были озабочены, как бы не скомпрометировать себя перед союзником связью с германской дипломатией, не приобрести репутации плохого товарища и не перепутать русского партнера.

Одновременно с тем французский кабинет поставил своей главной задачей подготовить вступление Англии в войну. Английские и французские документы рисуют яркую картину упрямого упорства, проявленного г. Полем Камбоном (французским послом в Лондоне) в его переговорах с сэром Эдуардом Греем. Хотя в этих переговорах Грей до последнего момента поддерживал ту фикцию, будто Англия ничем не связана в своем поведении, он все же так мало обескуражил г. Камбона, что последний в конце концов смог забрать английского дипломата в свои руки. 1 августа Франция добилась заверения, что английский флот будет препятствовать проходу германских судов через канал и защищать французское побережье от немецких нападений. С этого момента сделку можно считать состоявшейся. Англия окончательно отказалась от своего нейтралитета и бесповоротно утратила свою свободу. Франция достигла того, чего хотела.

Французский кабинет пользовался в своих домогательствах помощи Англии еще одним средством, ярко характеризующим его общее поведение во время кризиса. Это — лживость, другого слова нельзя подобрать для изображения действительных событий. Не только г. Вивиани, но и сам г. Пуанкарэ постоянно утверждали, что общая русская мобилизация является следствием всеобщей мобилизации австрийской [1]). А между тем о русской мобилизации уже рано утром 31 июля расклеивали извещения на улицах Петербурга, в то время как Австрия лишь несколькими часами позже приняла решение мобилизоваться: это (как уже упоминалось

---

[1]) См. «Синяя книга» № 134 и «Желтая книга» № 127.

нами) нужно считать вполне установленным. Точно также искажали правду французские государственные деятели и относительно военных мероприятий Германии. 29 июля я поручил нашему послу в Париже, барону фон Шену, поставить французскому правительству на вид, что непрерывные военные приготовления Франции вынудят и нас прибегнуть к мерам оборонительного характера: мы должны будем об'явить страну в состоянии, угрожаемом войною, что еще не означает мобилизации, но, несомненно, увеличит напряженность положения. Мы, впрочем, все еще надеялись на сохранение мира [1]). Г. Вивиани в своей телеграмме г. Полю Камбону искажает это заявление и сообщает, будто мы намерены вскоре об'явить себя в положении, угрожаемом войной, и под прикрытием этой ширмы в действительности уже начали свою мобилизацию [2]). 1 августа г. Вивиани выражает г. фон Шену — в ответ на его сообщение о немецкой мобилизации — свое изумление по поводу того, что Германия предпринимает такую меру в тот момент, когда все еще продолжается дружеский обмен мнений между Россией, Австрией и державами [3]). Следовательно, Вивиани признает, что дипломатия еще работает с надеждой на успех, но обвиняет Германию в умышленном препятствовании этой работе, хотя ему хорошо известно, что дипломатические переговоры происходили прежде всего в результате воздействия Германии и что именно Россия прервала их своей мобилизацией. Если даже сам царь в своей телеграмме германскому императору от 29 июля заявлял об опасении, что военные приготовления, к которым желают принудить его окружающие, могут повести к войне [4]), и если сэр Эдуард Грей 30 июля видел единственную, хотя и очень слабую надежду на сохранение мира в приостановке русских

---

1) «Белая книга», приложение, № 17.
2) «Желтая книга» № 127.
3) Там же, № 125.
4) «Белая книга», приложение № 21.

военных приготовлений [1]), то тем более нельзя допустить, что г. Вивиани мог не понять значения русской мобилизации, по отношению к которой немецкая являлась лишь ответом.

Наконец, крайне странным представляется заявление г. Вивиани 31 июля в семь часов вечера, когда барон фон Шен вручил ему ноту о нашем ультиматуме России, будто он не имел никаких сведений о русской мобилизации. Эта странная неосведомленность просто непонятна.

Дело, которое требует искажения истины, не может быть правым. Но цели, которые французский кабинет преследовал своей тактикой, не возбуждали никаких сомнений. Нужно было во что бы то ни стало, не пренебрегая и нечистыми средствами, произвести впечатление, будто русская всеобщая мобилизация была провоцирована центральными державами. Такого рода политика поддерживала усилия французской дипломатии в Англии, но больше всего нужна была в своей собственной стране. Ради Сербии французский крестьянин и рабочий не стали бы воевать, и за тяготение России к Константинополю французская кровь была тоже слишком дорогой ценой. Ярые шовинисты, наверное, не постеснялись бы в июле 1914 г. ринуться в войну из-за Эльзас-Лотарингии, но сам французский народ вряд ли бы выразил свое согласие на это. Как ни глубоко вкоренилась мысль о реванше, все же ее одной было недостаточно, чтобы вызвать агрессивную войну. Насколько я знаю, Париж — единственная столица, на улицах которой в июле 1914 г. происходили демонстрации против войны. В пункте 8 декларации Вильсона заключается одна верная мысль, что Эльзас-Лотарингия в продолжение 50 лет держала под вопросом всеобщий мир. Потерянные Францией провинции не давали международной атмосфере притти в покойное состояние. Они поддерживали длительное предгрозовое настроение. Но гроза должна была разра-

---

[1]) «Синяя книга» № 103.

зиться с другой стороны. Страстными застрельщиками оказались русские правящие сферы, французские же — сочувственно прислушивались к ним. Поэтому и приходилось убеждать французский народ, что коварно нападающей стороной являемся мы. Это должно было поддержать ту удивления достойную энергию, которую Франция проявила в грозные годы войны.

Хотя война надвигалась на Германию с востока, но именно на западе положение ее оказалось всего более трудным. Когда на наш запрос мы получили от французского кабинета известный ответ, что Франция поступит так, как ей подсказывают ее интересы, нам не оставалось другого выбора, как об'явить себя в состоянии войны с нею. Таким образом мы оказались наступающей стороной, хотя и считали себя вправе ссылаться на агрессивные действия французских войск [1]). Не думаю, чтобы можно было избежать

[1]) В об'явлении Германией войны перечисляются различные нарушения французами границ и аэропланные налеты. Сведения о нападении летчиков в некоторых из перечисленных случаев оказались неверными. Но нет сомнения, что первые нарушения границ произведены были со стороны французов и что уже 2 августа, за целый день до об'явления войны, французские войска стояли на германской территории. С целью разжигания страстей во Франции французский министр иностранных дел опубликовал в 1918 г. часть нашей инструкции от 31 июля 1914 г. В ней поручается германскому послу в совершенно невероятном случае об'явления французским правительством своего нейтралитета потребовать в залог крепости Туль и Верден. Как известно, эта часть инструкции не была приведена в исполнение и, следовательно, вообще не дошла тогда до сведения французских властей. А потому вопрос о залогах не имел никакого влияния на ход событий. Если бы Франция действительно об'явила свой нейтралитет, то мы должны были бы считаться с тем обстоятельством, что французская армия под видом его могла бы закончить свои приготовления и затем, когда мы далеко на востоке были бы заняты военными операциями, в удобный момент напасть на нас. Против этого мы должны были иметь солидные гарантии. По мнению военных авторитетов,

такого положения. Быстрота военных решений, к которым принуждала нас русская мобилизация, не представляла нам возможности занять выжидательную позицию в своих боевых операциях против Франции и не давала вообще времени для таких дипломатических шагов, которые могли бы улучшить в этом отношении наше положение. Как это свойственно существу всякого нападения, нападающая сторона — Россия — диктовала нам наше поведение.

Нашему вступлению в Бельгию часто приписывается решающее значение для всего хода всемирной катастрофы. При рассмотрении именно этого вопроса необходима особая об'ективность как с нашей стороны, так и со стороны врагов.

Наши военные имели, как я давно уже знал, только один военный план, базирующийся на вполне верном и теперь оправдавшемся предположении, что предстоящая Германии война должна будет вестись на два фронта. Военный план состоял в следующем: наивозможно быстрое наступление на западе; в первое время его проведения — оборонительная тактика на востоке и только после удачи западного наступления — переход в наступление в большом масштабе и на востоке. Только такая стратегия представляла возможность преодолеть численный перевес врагов. Однако для удачного проведения наступления на западе настоятельно требовался, по мнению военных, поход через Бельгию. Политические и военные соображения вступали в этом вопросе в резкое столкновение. Несправедливость по отношению к Бельгии была явная, и обще-политические последствия ее ясно можно было себе представить. Начальник генерального штаба, генерал

занятие на время войны крепостей Туля и Вердена являлось бы в этом отношении достаточным. Эти военные соображения приходилось иметь в виду при составлении инструкции для нашего посла.

фон-Мольтке, не мог с этим не согласиться, но указал на абсолютную неизбежность этого с военной точки зрения. Я принужден был примкнуть в своем мнении к нему. Для всякого сколько-нибудь трезво рассуждающего наблюдателя страшная опасность войны на два фронта была так ясна, что критиковать с гражданской точки зрения военный план войны, со всех сторон продуманный и признанный необходимым, значило бы взять на себя слишком большую ответственность: в случае военной неудачи единственной причиной ее считалось бы расстройство этого плана. В настоящее время военные круги обсуждают вопрос, не правильнее ли была бы с самого начала обратная стратегия. Решать это — не мое дело. Но, как мне кажется, опыт нашего польского похода в 1915 г. не дает основания думать, что отношение России к нашему наступлению летом 1914 г. дало бы нам возможность успешно отразить неизбежное наступление французов. Тем более подобные соображения не могли побудить меня в 1914 г. взять на себя ответственность, оспаривая единственный представленный мне военными авторитетами план.

Итак, ультиматум Бельгии был политическим выполнением решения, признанного необходимым с военной точки зрения. 4 августа я открыто сознался в причиненной нами несправедливости, но одновременно характеризовал наше положение, как безвыходное, тем самым искупающее нашу вину, — и эти слова я готов повторить и теперь. Отрицать безвыходность нашего положения может только тот, кто с определенным умыслом не желает видеть тогдашней военной обстановки; но и оспаривать причиненную нами несправедливость — нет достаточно веских оснований. Мнение, что мы могли ссылаться на устаревшие и потерявшие силу договоры о крепостях, не выдерживает критики. То была бы дипломатическая уловка, и действие ее не длилось бы свыше одного дня. О каких-нибудь нарушающих нейтралитет действиях Бельгии нам 4 августа ничего не было известно.

Документы, обнаружившие, что бельгийские и английские военные в 1906 г. вели переговоры о военном использовании Бельгии, были найдены только во время войны. Предположим даже, что мне было бы известно содержание этих документов в момент начала военных действий: разве кто-нибудь поверит, чтобы Бельгия по их пред'явлении разрешила бы нам проход, или что на основании их я мог бы убедить мир в нашем праве пройти по ее территории? Да, эти документы компрометируют Бельгию; но если бы они даже компрометировали ее гораздо больше, чем это есть в действительности, они нас только освободили бы от обязательства соблюдать гарантии нейтралитета 1839 г. Ни до, ни после их обнаружения мы не имели права врываться в эту страну, но все равно должны были бы, если бы она не подчинилась нашим требованиям, применить насилие, как мы это и сделали, т.-е. об'явить ей войну. Какую малую убедительную силу имели, между прочим, эти документы, — установлено на практике. Мы опубликовали их, как только нашли в Брюсселе. Но я не заметил, чтобы пропаганда врагов потерпела от этого сколько-нибудь заметный ущерб. Неизмеримый вред, причиненный будто бы Германии моей речью 4 августа (между прочим, никто не возражал на нее), существует, мне кажется, только в воображении тех, кто в моих словах видел средство борьбы против меня.

А тем временем враждебная пропаганда работала, пуская в ход безграничные преувеличения и даже подделки. Италия и Румыния под ничтожными предлогами отказались от своих союзных обязательств и, когда мы оказались в самом стесненном положении, об'явили нам войну. Сделали они это не потому, что их существованию угрожала опасность, но под давлением Антанты и из жадности к добыче. И их восхваляли и превозносили за это, как благородных борцов за право и справедливость; напротив, нас клеймили, как преступников, потому что в борьбе за свое существование мы

потребовали пропуска через Бельгию, не обращая внимания на то, что мы гарантировали при этом полную неприкосновенность ее и возмещение ей всех причиненных нами убытков. Нельзя себе вообразить более резкого противоречия.

Негодование по поводу нарушения договора, под флагом которого Англия приняла участие в этой войне, мало соответствует, как известно, данным английской истории. Как раз по вопросу о нейтралитете Бельгии английские государственные деятели на тот случай, если бы были затронуты британские интересы, придерживались совсем другого и весьма своеобразного взгляда. Английской публике, охваченной в настоящее время глубочайшим негодованием, было бы не бесполезно ознакомиться с этим [1]).

Однако, больше чем на факты прошлого, следует обратить внимание на явления современные. Собственные признания сэра Эдуарда Грея показывают, что вовсе не бельгийский нейтралитет побудил Англию принять участие в войне. О своей беседе с нашим послом князем Лихновским от 29 июля он сообщает следующее:

«Окончив сегодня после полудня беседу с германским послом об европейском положении, я прибавил, что желал бы ему совершенно частным и дружеским образом сказать нечто, что меня очень беспокоит. Положение — серьезное. Пока все ограничивалось возможностями, которые имеют место в настоящее время, мы не думали вмешиваться. Но если

---

[1]) Ср. заявления лорда Пальмерстона в Нижней Палате 8 июня 1855 г., Гладстона—12 августа 1870 г. там же, а в особенности письмо «Дипломатикуса» в Штандарте от 4 февраля 1887 г. Правда, английское правительство в своих декларациях от 19 января и 14 марта 1917 г. оспаривает, что это письмо действительно отражает взгляды тогдашнего правительства лорда Сольсбери, но найденные в бельгийских архивах документы, которых, к сожалению, нет сейчас в моем распоряжении, дают убедительное доказательство, что это все-таки именно так.

будет вовлечена Германия, а затем Франция, то последствия могут быть столь велики, что затронут все европейские интересы. Я не желал бы, чтобы дружеский тон наших бесед, который, будем надеяться, не изменится, заставил бы его ошибочно предполагать, что мы останемся в стороне... Не могло бы быть и речи о вмешательстве с нашей стороны, если бы не была замешана Германия и, пожалуй, еще Франция. Но он должен понять, что если дело примет такой оборот, при котором интересы Британии потребуют нашего вмешательства, оно должно будет последовать немедленно, и решение будет принято очень быстро, как решение и других держав... [1])».

Таким образом ни слова о Бельгии. Но что интересы Англии могут потребовать участия в войне, если Франция будет в нее вовлечена, об этом Грей говорит так ясно, как того только допускает дипломатический способ выражения. С формальной точки зрения он оставляет за собою свободу действий, учитывая впечатление в парламенте и общественное мнение, но по существу он, видимо, уже решился. Весьма показательными в смысле того и другого являются также его беседы с французским послом 29 и 31 июля [2]).

Грей сказал г. Камбону: «Мы еще не решили, что делать в случае вовлечения Германии и Франции в войну: об этом следует еще подумать. Франция в таком случае оказалась бы вовлеченной в войну, которая не была бы ее собственной, но участвовать в которой она была бы вынуждена в силу своих союзных обязательств, своей чести и своих интересов. Мы свободны от обязательств, и нам предстояло бы решить, что предпринять в интересах Британии. Я считал необходимым сказать это, потому что и мы, как известно, принимаем уже все меры предосторожности относительно нашего флота, и я имею в виду предупредить князя Лихновского, чтобы он не

---

[1]) «Синяя книга» № 89.

[2]) Там же, №№ 87 и 119.

рассчитывал на нашу безучастность. Однако было бы неправильно с моей стороны, если бы я допустил, чтобы у г. Камбона сложилось ошибочное предположение, будто это обозначает, что мы уже решили, что нам делать, в случае наступления конфликта, который, как я надеюсь, еще можно предотвратить».

И затем 31 июля:

«До сего времени ни мы, ни общественное мнение не замечали, чтобы были затронуты какие-либо договоры или обязательства нашей страны. Дальнейшее развитие событий может изменить положение и склонить правительство, а также парламент к мнению, что имеются основания для нашего вмешательства... Г. Камбон повторил свой вопрос, думаем ли мы помогать Франции, если Германия нападет на нее. Я сказал, что могу только остаться при своем прежнем ответе, что мы при настоящем положении дел не можем брать на себя никаких обязательств... Кабинет, несомненно, займется этим вопросом, как только наступит новый оборот событий; но в настоящую минуту единственный ответ, который я могу дать, это — что мы не можем взять на себя никаких окончательных обязательств».

Затем весьма выразительное заявление в той же самой беседе:

«Соблюдение нейтралитета Бельгии может быть не хочу сказать — решающим, но весьма важным фактором в смысле определения нашего поведения».

Вполне ясен, наконец, смысл беседы сэра Эдуарда Грея с князем Лихновским 1 августа. Грей сам передает ее в следующих словах:

«Он спросил меня, обязуемся ли мы оставаться нейтральными, если Германия обещает не нарушать бельгийского нейтралитета. Я ответил, что сказать этого не могу; наши руки все еще свободны, и мы еще думаем о том, каково будет наше поведение. Все, что я мог бы сказать, это то, что наше по-

ведение зависит от общественного мнения и что в этом отношении соблюдение нейтралитета Бельгии могло бы оказать на него весьма сильное влияние. Я не думаю, что мы можем обещать оставаться нейтральными исключительно на основании этого условия. Посол настойчиво допытывался, могу ли я перечислить условия, при которых мы останемся нейтральными. Он даже намекал на то, что могла бы быть гарантирована неприкосновенность Франции и ее колоний. Я сказал, что считаю себя обязанным решительно отказать ему в обещании нейтралитета на таких условиях и только могу заявить, что у нас руки должны быть свободными» [1]).

Можно было бы привести еще много доказательств. Позволим себе упомянуть здесь только еще одно. 1 августа сэр Эдуард Грей заявил французскому послу, что он потребует в кабинете министров декларации, что английский флот окажет сопротивление, в случае попытки прохода германских судов через канал, а также всякой демонстрации у французского побережья. Утром 2 августа это заявление стало официальным, и тем самым наступило состояние войны между Англией и Германией. К этому времени мы, однако, еще не успели пред'явить нашего ультиматума Бельгии.

Не из-за Бельгии вступила Англия в войну, но потому, что — формально свободная — она чувствовала себя морально связанной с Францией, а также потому, что считала нужным в интересах Британии простереть над Францией свою охраняющую руку. Беспристрастный исследователь не может притти к другому заключению, даже если он совсем оставит в стороне то обстоятельство, что влиятельные английские круги вообще весьма сочувственно относились к участию в борьбе с Германией. Наше нарушение бельгийского нейтралитета было лишь предлогом к войне; оно повлияло на окончательное решение Англии, быть может, лишь в смысле

[1]) «Синяя книга» № 123.

ускорения его и во всяком случае представляло правдоподобное об'яснение для английского народа. Между прочим, сам сэр Эдуард Грей в своей большой речи, произнесенной в Нижней Палате 3 августа 1914 г., говорил о событиях в Бельгии лишь как о части общей проблемы, что вполне соответствует истине. В тот момент он еще не был осведомлен о нашем ультиматуме. Он мог, следовательно, говорить о нарушении бельгийского нейтралитета только предположительно. Но он был вынужден сообщить об обмене письмами в ноябре 1912 г. и теперь прилагал все старания, чтобы доказать, что у Англии, несмотря на эту переписку, руки еще не были связаны. Насколько дружба с Францией возлагает какие-либо обязательства на Англию, — говорил он, — пусть каждый решит сам, но со 2 августа существует обязательство — в смысле защиты французского побережья. Хотя это еще не равносильно об'явлению войны, но имеет обязывающий характер на случай военных операций, направленных против французского судоходства. Что Англия не может оставаться нейтральной, он повторял в самых различных выражениях и в заключение сказал: «Если мы предпочтем придерживаться этого направления (т.-е. соблюдать нейтралитет), говоря: мы не желаем ничего общего иметь с этим делом, несмотря ни на какие обстоятельства — ни на договорные обязательства по отношению к Бельгии, ни на возможность невыгодного для английских интересов положения в Средиземном море, наконец, не считаясь с тем, что может произойти с Францией, если мы ей откажем в поддержке, — то мы пожертвуем своим авторитетом, добрым именем и репутацией, не избегнув притом самых серьезных и тяжелых экономических последствий».

Но 6 августа получил слово весьма практичный в политических делах мистер Асквит: «Если меня спросят, за что мы воюем, то я отвечу двумя положениями: прежде всего, чтобы

исполнить торжественное международное обязательство» (под этим следует понимать бельгийский нейтралитет); «во-вторых, мы воюем в защиту принципа, что слабые национальности не должны быть подавляемы в нарушение международной чести и доверия волей какой-либо могучей державы, действующей из корыстных целей». Этой формулой определялись два фокуса, вокруг которых с тех пор послушно кружилась английская военная пропаганда. То была наиболее целесообразная в смысле простоты политическая математика, спокойно оставляющая в стороне все неукладывающиеся в нее элементы исторической действительности. Но Ллойд-Джордж — как раз тот человек, которого пламенное красноречие и необыкновенно тонкое знание психики английского народа сделали наиболее видным борцом за английскую легенду о войне, — в минуту увлечения откровенно высказал мысль, собственно предназначавшуюся лишь для интимного круга посвященных. 8 августа 1918 г. он сказал: «Мы имеем соглашение с Францией, что Об'единенное Королевство придет ей на помощь, если на нее будет произведено умышленное нападение». «Мы этого не знали», крикнул ему член Нижней Палаты м-р Хуг. «Если нападение на нее будет произведено умышленно», повторил Ллойд-Джордж. Один из членов Нижней Палаты опять крикнул: «Это для нас новость». Бывший член кабинета сэр Герберт Самуэль тотчас понял опасное значение этого сообщения и старался истолковать его в смысле версии Грея об обмене письмами в 1912 г. Ллойд-Джордж после этого смягчил свои слова: «Я полагаю, слово — соглашение — слишком сильно для обозначения того, что фактически произошло». Он еще раз прочитал письмо Грея и продолжал: «Я полагаю, слово compact (соглашение) было слишком сильным выражением в данной связи. Слово — долг чести (obligation of honour), думаю я, могло бы более верно, нежели слово соглашение, выразить то, что на самом деле имело место; во всяком случае это не было договором

(treaty)». Нет, безусловно нет! но это было поводом для вступления Англии в войну.

Лидеры оппозиции, бывшие в курсе дел, 2 августа 1914 г. назвали вещи своими именами. Бонар Лоу писал тогда следующее в своем письме к Асквиту:

«Лорд Лэндсдоун и я считаем нашим долгом поставить вас в известность, что, по нашему мнению и по мнению всех коллег, с которыми мы имели возможность беседовать, было бы роковым для чести и безопасности Об'единенного Королевства, если бы при настоящих обстоятельствах мы медлили с оказанием поддержки Франции и России; мы предлагаем правительству не задумываясь нашу поддержку во всех мероприятиях, которые оно считает нужными для этой цели».

Следовательно, «честь и безопасность Об'единенного Королевства, поддержка Франции и России» — и ни слова о Бельгии!

Как мне кажется, этот ретроспективный взгляд, брошенный на прошлое, имеет значение большее, чем просто исторический интерес к действительному ходу событий. Для нас, немцев, суждение о вреде, причиненном нам нашим вторжением в Бельгию, сводится к правильности этого взгляда. Быть может, и за границей в будущем признают, что несправедливость по отношению к Бельгии, причиненная ей нами в процессе борьбы за существование, которую мы вели почти против всего мира, умышленно раздута врагами в преступление, чтобы, таким образом, лишить нас нашего места среди наций. Но если бы мы даже не совершили этой несправедливости, Англия все равно всей своей мощью и всем своим мировым авторитетом участвовала бы в травле против Германии. Современному поколению трудно судить, могут ли когда-либо исчезнуть и исчезнут ли следы, оставленные той ненавистью, которую особенно нагромождала вокруг нас Англия. Даже с церковной английской кафедры проповедывалось, что уби-

вать немцев — богоугодное дело, и еще дети и внуки наши будут чувствовать на своем теле последствия блокады, с дьявольской утонченностью проведенной Англией. Англия сама позаботилась о том, чтобы методы ведения войны продолжали оказывать свое действие даже тогда, когда по прошествии многих лет массовые могилы павших станут окутываться паутиной забвения и прощения. Ложь и клевета должны быть вырваны с корнем, если мы не хотим, чтобы надежда хотя бы на запоздалое примирение народов осталась навсегда несбыточной мечтой [1]).

29 июля я сделал попытку выяснить с той откровенностью в выражениях, какой требовала серьезность положения, чего мы можем ожидать от Англии. Мой запрос, встреченный в Англии сильным нравственным возмущением, как предложение позорного характера, в действительности заключался в том, чтобы выяснить, останется ли Англия, в случае войны на два фронта, нейтральной. Предложенные мною обеспечения на случай соблюдения Англией нейтралитета были достаточно широки, чтобы рассеять у нее всякое опасение отно-

---

[1]) Вражеская пропаганда особенно использовала в своих выгодах донесение, сделанное сэром Эдуардом Гошеном английскому правительству о последней его беседе со мной («Синяя книга» № 160). Посол забывает упомянуть в своем докладе, что в начале беседы он предложил мне вопрос, не могу ли я дать на английский ультиматум иной ответ, нежели г. фон Ягов. Я ответил отрицательно. Тогда посол спросил, не могли ли бы мы, если война действительно окончательно решена, о чем он очень сожалеет, перед прощанием поговорить в совершенно частной и личной беседе о том ужасном положении, в которое поставлен мир. Я немедленно изъявил свое согласие и просил его присесть у моего стола. Затем я стал говорить в сильных выражениях о тех бедствиях мирового характера, которые я предвидел, как неизбежное следствие вступления Англии в войну. Когда же сэр Эдуард Гошен несколько раз указал на бельгийский нейтралитет, как на решающий момент, я нетерпеливо воскликнул, что по сравнению с ужасами англо-германской войны договор о нейтралитете

сительно изменения status quo после победы Германии. Ответ Англии, если освободить его от риторических политико-этических украшений, означал, что Англия оставляет за собою абсолютную свободу действий, т.-е., другими словами, не желает отказаться от свободы вмешательства в войну. И в этом случае я не мог освободиться от впечатления, что как раньше, так теперь и позднее английские государственные деятели смотрели на войну только через очки британских интересов, но закрывали глаза на то значение, которое для всего мира и человечества неизбежно должна была иметь такая война между родственными народами по обе стороны Северного моря. Относительно результатов моих попыток я не питал никаких иллюзий. Английские авторы [1]) не без иронии распространялись о том, насколько ошибочно было с нашей стороны считать английский нейтралитет обеспеченным. Они забывают, как основательно мы ознакомились с направлением английских волеустремлений со времени Эдуарда VII, со времени речи в Mansion House (во дворце лорда-мэра) и миссии Хольдена, и упускают из виду, что определенные сведения об

Бельгии представляет собой лишь клочок бумаги. Пусть это слово было неудачно — ведь у меня вся кровь кипела как от коварного неоднократного подчеркивания бельгийского нейтралитета, в котором вовсе не заключался действительный мотив, толкавший Англию к войне, так и от абсолютного отсутствия понимания, что об'явление войны Англией должно уничтожить такие ценности мирового значения, по сравнению с которыми нарушение нейтралитета Бельгии является пустяком. Но официальное использование частных разговоров представлялось мне совершенно непринятым в дипломатии обычаем. Если это все-таки произошло, то сэр Эдуард Гошен, на которого мое взволнованное состояние произвело такое сильное впечатление, должен был бы для полноты картины еще прибавить, что при прощании он заплакал и просил у меня разрешения еще некоторое время остаться в моей приемной, потому что в таком виде не считал возможным показаться служащим канцелярии.

[1]) Напр.: F. S. Oliver, Ordeal by Battle, стр. 58.

англо-русских переговорах мы получили еще весною. Тот, кто ложно приписывает нам такую крупную ошибку, по крайней мере, способствует разрушению легенды о бельгийском нейтралитете, как основании для об'явления Англией войны.

И у нас известная политическая группа распространяла мнение, будто я не хотел видеть и не видел английской опасности, а рассчитывал до последнего момента на дружественное поведение Великобритании. Это, повидимому, весьма распространенный в политической борьбе способ введения в заблуждение хотя бы и с помощью сведений, самым вопиющим образом противоречащих фактам. Как раз мои попытки вступить в соглашение с Англией, начавшиеся с первых дней моего канцлерства и повторявшиеся все время, несмотря на понесенные неудачи, доказывают, что я видел английскую опасность по меньшей мере так же хорошо, как те, кто своей нашумевшей морской политикой только увеличил это зло. Тому, кого, как меня, ни на мгновение не покидала мысль о грозящей стране опасности, не следовало бы свивать веревку из его же собственных попыток сделать все возможное даже при явной безнадежности его усилий.

1 августа, казалось, блеснула еще одна последняя надежда. Поступили известные депеши князя Лихновского, согласно которым Грей сам лично и через своего секретаря хотел еще раз выдвинуть на рассмотрение вопрос о нейтралитете Франции в русско-германской войне и нейтралитете Англии, в случае войны Германии с Францией и Россией. Император, в момент поступления этих депеш окруженный своими военными и политическими советниками, решил тотчас же, что, рискуя даже, что эти донесения могут оказаться ошибочными, следует, само собой разумеется, пойти на все невыгоды, связанные с замедлением военных мероприятий. Посол получил от меня срочные указания — принять протяну-

тую нам руку. Если Англия гарантирует нейтралитет Франции, мы в таком случае не предпримем никаких мер против последней. Император в том же духе телеграфировал королю Георгу. Но то был призрак, тотчас же рассеявшийся, недоразумение, оставшееся нераз'ясненным. Лавину уже нельзя было остановить. И она обратила в развалины старую Европу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Судьба решила против нас. Пусть враги чувствуют себя победителями, они все же не являются судьями. Их приговор — лишь решение определенной партии, и доказательная сила его далеко не соответствует тому шуму, ненависти и самохвальству, в которые они облекают свои обвинения. Гордый английский девиз — right or wrong my country [1]) — в победе и поражении одинаково сильный призыв, покрывается теперь деловой пропагандой, которая, умалчивая о явных фактах, трубит по всему миру о виновности Германии. Противники хотят быть только обвинителями; они отклоняют суд, подвергающий обвинение рассмотрению. Единственный трибунал, который мог бы иметь место, если бы в данном случае возможно было обвинение, как в обычном процессе, — третейский суд нейтральных государств—для них неприемлем. Но и то, что может быть сказано с немецкой стороны, является только партийным мнением и поэтому малоценно. Все это лишь отражения суб'ективных представлений, несвободных от тех следов, которые чудовищность катастрофы должна была оставить в каждом человеческом восприятии. Вполне sine ira et studio (об'ективно) в состоянии будет судить только позднейший историк. Но все же и теперь нельзя отрицать некоторых выводов.

Явный вымысел, будто бы Германия вызвала войну из-за стремления к мировому господству, до такой степени нелеп,

---

[1]) Права и ли не права, но то—моя страна!

что историческое исследование могло бы только в том случае остановиться на нем, если бы не было никаких других об'яснений. Что германская политика не использовала многих относительно более благоприятных случаев вызвать войну, но каждый раз искала и находила мирное разрешение вопроса, это — исторический факт. Думать, что для установления мирового владычества Германии мы выбрали бы наиболее неблагоприятное стечение обстоятельств в полном противоречии с нашими политическими и военными возможностями, урезанными господствующей системой коалиций, это значит — предположить такое отсутствие здравого смысла, которое можно приписать противнику в пылу ежедневной политической борьбы, но которое не выдерживает никакой исторической критики. С другой стороны, неопровержимым фактом является стремление России к овладению выходом в Средиземное море и ее желание играть доминирующую роль предводителя в славянском мире. Эти панславистские тенденции проходят через всю русскую политику, меняясь в своей силе, но никогда не угасая совершенно; стремление же овладеть проливами, хотя бы ценою европейской войны, доказано документально. Когда Россия обращает конфликт из-за панславистской пропаганды, остро вставший благодаря кровавому сараевскому делу, из локального в международный, а затем мобилизацией всех своих боевых сил из сферы дипломатической переносит его на военную почву, то эти действия являются сами по себе не только последовательным выражением исторического хода русского развития, осознанного русской политикой, как историческая миссия России, но и соответствуют ситуации момента.

Связанное с проведением русских планов разложение австро-венгерского союза государств имело решающее значение для всей системы распределения сил в Европе. Судьбой Дунайской монархии определялось также и будущее Германии, и таким образом дело шло о всем европейском status

quo. Однако ферментом мирового переворота европейский спор сделался лишь тогда, когда Англия стала на сторону России. Для Австралии и Канады, для Индии и Южной Африки проблемы о проливах и славянский вопрос не имели непосредственного значения. Но, не говоря о колониальной добыче, эти английские владения и колонии были заинтересованы в том, чтобы Британская мировая империя не вышла ослабленной из борьбы, в которую она вмешалась. Тот же самый интерес определял и поведение Америки. Даже в период своего нейтралитета Соединенные Штаты фактически были самым деятельным помощником Антанты. Потому что, как бы ни смотреть с точки зрения международного права на американские поставки оружия и аммуниции, огромное, если не решающее их значение для боевой силы наших врагов не подлежит никакому сомнению. Нельзя об'яснять поведение Америки простыми ссылками на образование финансовых трестов и на некоторый индифферентизм по отношению к Германии, постепенно раздутый английской пропагандой и благодаря инциденту с «Лузитанией» в антипатию, отчасти даже в ненависть. Вопреки начинающемуся империалистическому соперничеству между обеими англо-саксонскими державами, Соединенные Штаты чувствовали себя ближе к родственной британской мировой империи, чем к возвышающейся германской державе. Одну только Японию Англия не могла прибрать к своим рукам. Забрав себе то, что ей было нужно из общей массы германских колоний, империя Восходящего Солнца ограничилась затем ролью довольного зрителя, которому взаимное ослабление борющихся сторон шло только на пользу. Так, вследствие агитации Англии война обратилась в смертельную борьбу почти всего мира против Германии. Вполне английским является лозунг knockout [1]), который теперь еще проводится по отношению к побежденному уже противнику. Английская политика, которая своим обеща-

[1]) В боксе—удар, выбивающий противника из строя. *Прим. ред.*

нием помощи открыла дорогу воинственным тенденциям двойственного союза и тем самым сделала возможной войну, а также общее руководство войной со стороны Англии — вот основы мирового переворота, который сейчас совершается.

Таким образом общим фоном мировой войны является, в конце концов, англо-германский антагонизм. Но взрыв элементарных народных чувств в обеих странах — в Германии больше в форме возмущения и гнева, в Англии с сильной примесью грубой уничтожающей ненависти — не только подтверждает тот факт, что при взаимном понимании можно было предотвратить мировую катастрофу, но и вскрывает его корни в народном подсознании. Взгляд, будто Англия сознательно искала военного решения разногласий с своим германским соперником, по моему мнению, заключает в себе определенное преувеличение, как равным образом не выдерживают критики и обратные предположения англичан. Все дело, повидимому, в том, что в обеих странах искусство государственного управления оказалось не в силах или не захотело предотвратить судьбу, грозовою тучей нависшую над горизонтом мира. Если мне и представляется, что я, действительно, пытался предотвратить опасность, это не значит, что я склонен переоценивать свою работу и отрицать ее недостатки. Я не вижу также и смягчающих вину обстоятельств в том, что моя рассчитанная на сближение политика возмущала некоторых, считавших себя призванными защитниками национальной идеи, тогда как лица, мне по существу сочувствовавшие, не могли или не хотели оказать достаточно веской поддержки. Выход из положения возможен был бы только в том случае, если бы руководители английского государства решились принципиально порвать с системой коалиций, лишь организующей противоречия, вместо того чтобы их разрешать.

Мировое господство означает и мировую ответственность. Но свойственное английской мысли отождествление интересов

человечества с британским владычеством — никогда не согласится добровольно признать ни один немец. И бесчеловечна и бессовестна с его точки зрения та политика, которая не побоялась ради усиления британской мощи надолго искалечить голодом целый семидесятимиллионный народ,—политика, упорно отказывавшаяся притти к мирному соглашению и положить, таким образом, конец человеческой бойне, для которой она согнала на европейские поля битвы представителей всех наций из всех частей света, до тех пор, пока полное уничтожение противника не насытило до пресыщения ее алчное властолюбие. Утверждение, будто Англия все это сделала лишь в защиту слабых наций или что она действовала, как исполнитель божьей воли, карающей злодея рода человеческого, столь же нелепо, сколь и лицемерно; лживость его так явно обнаруживается из всего поведения Англии во время войны и после фактического окончания ее, что серьезно оспаривать его не приходится. Эту обнаженность животного эгоизма, ставшего, быть может, надолго проклятьем для жизни и будущности народов, не следовало бы прикрывать прозрачной вуалью лицемерной святости.

Английское искусство государственного управления, исчерпываясь помыслами о том, чтобы путем коалиций и вооружений обеспечить осуществление своих властолюбивых вожделений, тем самым лишь следовало общему духу времени. Иллюзия, будто подобными средствами можно разрешить задачи мировой политики и человечества, и погубила Европу: в этом заблуждении—вина всех наций, принимавших участие в войне, даже и тех, которые хотели предотвратить войну. Ибо совершенно сложить с какой-либо державы ответственность за мировую катастрофу так же невозможно, как невозможно сваливать всеобщую вину на одну из них. Политика еще не прониклась убеждением, что развитие мировых отношений наций обязывает их пересмотреть свое отношение к войне. Не обращая внимания на то, что при установившейся

группировке держав каждое изменение в распределении основных сил в Европе затрагивает весь мир, великие европейские державы заботились только об увеличении своей мощи. А значительно устаревшее представление, что война не только является определенным проявлением национальной силы, но и способствует нравственному обновлению народов, продолжало крепко держаться, несмотря на народные ополчения и ужасающие изобретения техники, превратившие рыцарское единоборство в безумную человеческую бойню, которая, приняв затяжной характер, уничтожает в человеке всякое нравственное чувство. Сознание ответственности перед всем человечеством в его целом было чуждо европейским правительствам. Сила, вероятно, останется выражением национальной жизни и тогда, когда в смене времен создастся преобладание сил духовных над материальными; всецело преодолеть первобытный эгоизм народам суждено так же мало, как и отдельному индивидууму. Но то обстоятельство, что эти народы до сих пор даже не сделали сколько-нибудь серьезной попытки обновить международную жизнь, а держались как раз противоположного направления, и есть основная причина роковых событий, разразившихся над миром.

Вероятно никогда не разрешится спор о том, какая сторона дала первый толчок к всеобщей политике вооружений и к доведению до абсурда идеи коалиций. Безграничное взаимное недоверие, навязчивая мания империализма и ограниченный материальными стремлениями наций патриотизм — взаимно взвинчивали друг друга все в большей степени, и невозможно установить, какая народность всего больше поддавалась этому во всем мире царящему настроению. Шовинизм — крайнее течение этой политики внешнего могущества, выражавшийся во французских и русских завоевательных тенденциях и в английском стремлении самым упрощенным способом обезвредить своего немецкого соперника, проводил

совершенно определенные агрессивные намерения. Напротив, у нас, в Германии, наиболее вдумчивые вожди этого направления, вопреки неоспоримым и вредным экстравагантностям пангерманских кругов, стремились по существу лишь к тому, чтобы путем усиления германской мощи парализовать вожделения противников. Совершенно очевиден также контраст между официальным покровительством шовинизму во Франции и России — с одной стороны, и враждой пангерманизма с германским правительством — с другой. Но что общий ход развития должен был достигнуть наивысшей точки с вступлением в него Англии, являлось естественным последствием мирового господствующего положения Великобритании. Несмотря на свои миллионами исчисляемые армии, тройственный и двойственный союзы сохраняли известное равновесие между собою и не доводили дело до взрыва, пока Англия — еще свободная в своих решениях — стояла в стороне. Тройственный союз вообще являлся чисто оборонительным, а в двойственном союзе не осмеливались переходить к осуществлению своих наступательных намерений, не обеспечив себя предварительно английской поддержкой. Таким образом, не вредя ни об'ему, ни целости великой Британской империи, splendid isolation (блестящая изолированность) Англии являлась в то же время существенной гарантией всеобщего мира. И чем больше Англия сходила с этой позиции, тем крепче приходилось Германии держаться союза с Австро-Венгрией, и вовсе не простая случайность, что движение, поведшее к большому военному законопроекту 1913 г., корнями своими уходит ко времени вмешательства Англии в франко-германский конфликт из-за Марокко. Когда позднее Англия уже совсем увязла в системе европейских коалиций, и военная поддержка франко-русских друзей обратилась для нее в дело чести, военная политика двойственного союза стала из скрытой своей стадии переходить в область практических осуществлений. Коалиции из защитников

мира превратились в защитников войны. Таков был результат европейской политики.

Теперь Антанта стоит у цели всех своих желаний. Безраздельно и полновластно управляет она миром и может беспрепятственно осуществлять идеи права и справедливости, свободы и гуманности, которые были ее военным лозунгом. В качестве практического результата мирной работы Парижа пока, правда, можно констатировать только удовлетворение собственной страсти к завоеваниям, насилование Германии, создание ряда новых государств, не представляющих гарантии безопасности, и учреждение Лиги Наций в целях подавления Германии. Золотой век, который обещала водворить Антанта после низвержения прусского милитаризма и в котором сам немецкий народ должен был подняться к новому преуспеянию, достойному человеческого звания, — пока проявляется лишь в актах хищнического корыстолюбия, грубого насилия и ничем неприкрытой жажды мести. Всеобщее умиротворение, которое поставил себе целью Вильсон, изуродовано до неузнаваемости его европейскими союзниками, сама победа которых была делом его рук. Если европейские державы надеются методом калечащих аннексий и изнуряющих контрибуций положить фундамент будущего примирения народов, то разочарование не может не последовать в очень скором времени. Человеческие чувства глубоко взбудоражены ужасами войны. У людей пробуждается настоятельная потребность в уважении как к человеку, так и к целым народам. Они не допустят на продолжительное время ига такой государственной мудрости, которая, беспомощно следуя по наезженным дорогам, не только не в состоянии отказаться от инстинктов и принципов, поведших к войне, но вновь оживляет их и способствует их росту. Антанта безгранично преувеличивает свою силу, мечтая посредством порабощения Германии и балканизации центральной Европы осчастливить

европейские народы новой весной. Только путем свободного совместного труда Европа может постепенно излечить свои раны, которые она сама себе нанесла, или она погибнет от дальнейших кровопусканий. Пусть лицом к лицу с окружающей нас неумолимой действительностью образ мыслей, считающийся с этическими ценностями, представляется многим пустой и призрачной идеологией. Все же как раз мы, немцы, можем из хода собственной нашей истории почерпнуть надежду на то, что творчество, стремящееся соединить с национальной волей служение человечеству, неодолимо и непобедимо. Если мы возьмемся за такую работу, то никакие условия мирного договора не смогут воспрепятствовать нам участвовать в создании лучшего будущего человечества.

Было бы самообманом предполагать, что новая государственная форма, вместе с переходом к которой Германия вступает в самую тяжелую эпоху своей истории, является для нее залогом счастливого грядущего, и столь же неразумно искать спасения в поношении прошлого. Парижские переговоры о мире, в которых выступают одни лишь республиканские или во всяком случае демократические правительства, показывают, что формы государственного строя тут не при чем. Принижать дух 4 августа, с его гигантскими достижениями в период невероятно тяжелых годов, до квасного патриотизма, или, под гнетом несчастья, хотя бы и в поисках правды, опускаться до признаний, едва ли отличающихся от заочного и тенденциозного приговора врагов, — значило бы лишь ослаблять свою силу, покоящуюся прежде всего на самоуважении. Бедствия народа оттесняют на задний план всякого рода сожаления о прошлом и потерянном. Но и те, кто не сумел предотвратить несчастье, вправе верить, что дух, воодушевлявший наш народ для геройских подвигов, не может погибнуть и что когда-нибудь он вновь выведет нас из роковой тьмы внутренних и внешних бедствий к свету.

ИНСТИТУТ

13939

90 k.